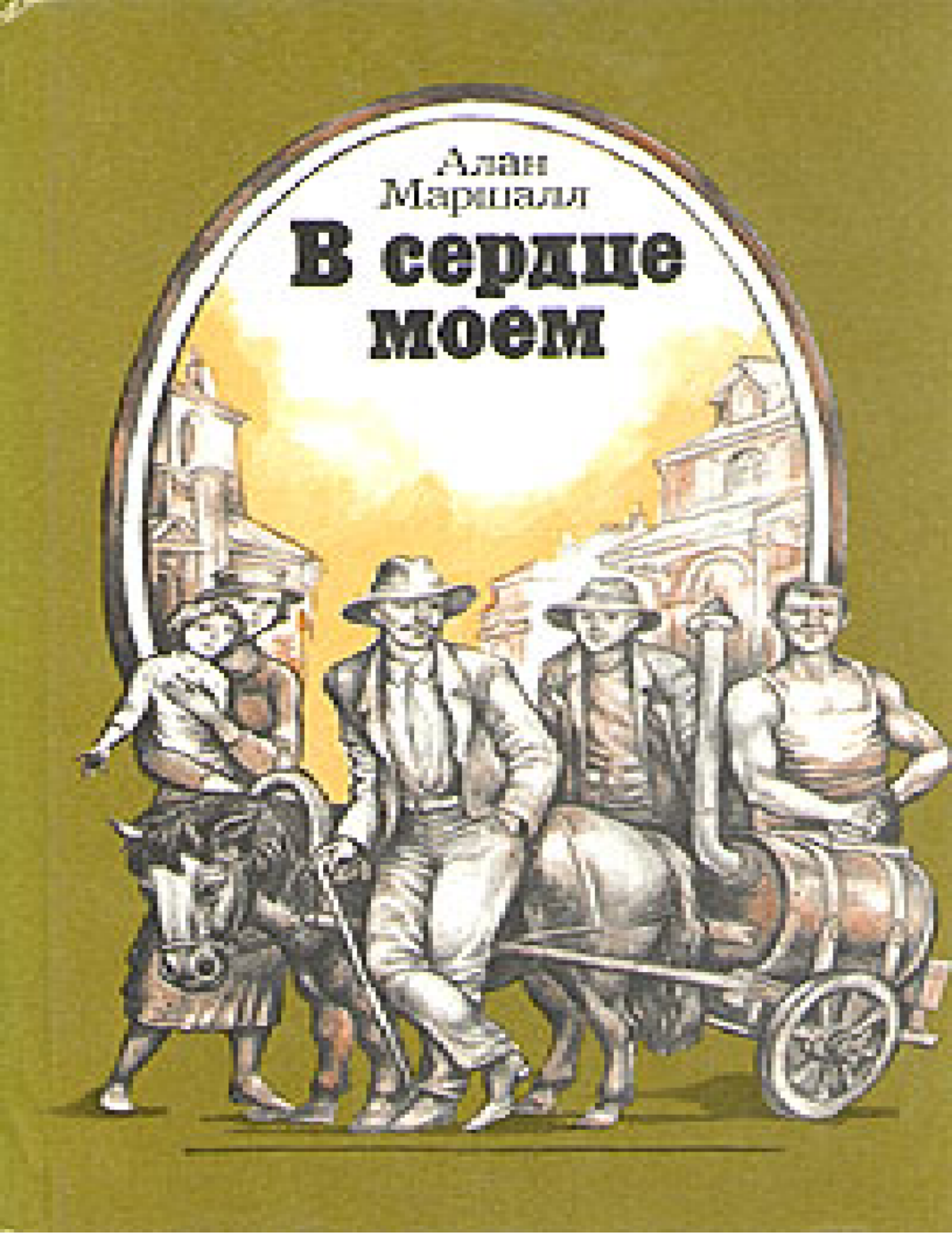
Алан Маршалл

В сердце моем



SHOUT
SHARE
IT

Annotation

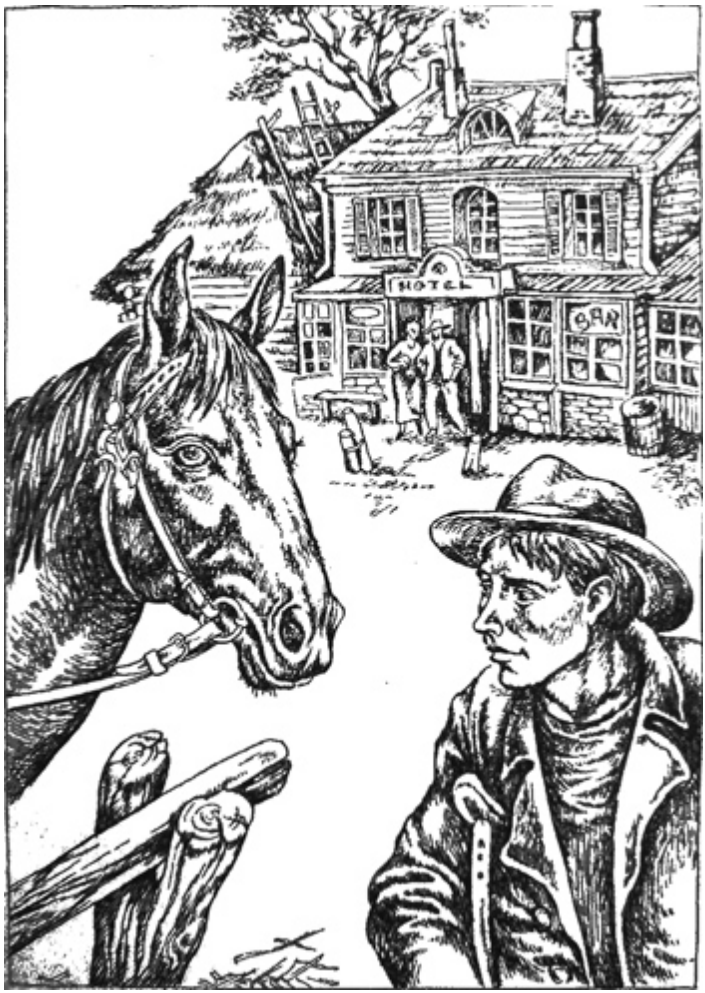
В автобиографической трилогии австралийского писателя Алана Маршалла (1902—1984) три повести: уже знакомая читателям «Я умею прыгать через лужи» (1955) и продолжающие ее «Это трава» (1962) и «В сердце моем» (1963).

Это история детства и юности, борьбы с недугом, выбора жизненного пути, нравственного формирования героя, прокладывающего свой тернистый жизненный путь в капиталистическом обществе.

- Алан Маршалл
  -
  -
  - КНИГА ПЕРВАЯ
    -
    - ГЛАВА 1
    - ГЛАВА 2
    - ГЛАВА 3
    - ГЛАВА 4
    - ГЛАВА 5
    - ГЛАВА 6
    - ГЛАВА 7
    - ГЛАВА 8
  - КНИГА ВТОРАЯ
    -
    - ГЛАВА 1
    - ГЛАВА 2
    - ГЛАВА 3
    - ГЛАВА 4
    - ГЛАВА 5
    - ГЛАВА 6
  - КНИГА ТРЕТЬЯ
    -
    - ГЛАВА 1
    - ГЛАВА 2
    - ГЛАВА 3
    - ГЛАВА 4
    - ГЛАВА 5
    - ГЛАВА 6
- notes
  - 1
  - 2

- ○ 3
- ○ 4
- ○ 5
- ○ 6
- ○ 7

Алан Маршалл
Это трава



Это поистине мысли всех людей, во все времена, во всех странах, они родились не только во мне,

Если они не твои, а только мои, они ничто или почти ничто,

Если они не загадка и не разгадка загадки, они ничто,

Если они не столько же вблизи от меня, сколько вдали от меня, они

ничто.

Это трава, что повсюду растет, где есть земля и вода,

Это воздух для всех одинаковый, омывающий шар земной.

У. Уитмен, Листья травы

(Из поэмы «Песня о себе».

Перевод К. Чуковского)

Другу моему доктору Иану Макдональду посвящаю

КНИГА ПЕРВАЯ

ГЛАВА 1

Я сидел прямо против него, нас разделял только большой полированный стол. Это был грузный человек, заполнивший собой мягкое вертящееся кресло и как бы слившийся с ним.

Лицо у него было полное, обрюзглое, под мясистыми щеками и подбородком словно не было костей. Голубые глаза смотрели на меня с той особой пристальностью, которая вырабатывается привычкой подмечать все, что происходит вокруг. Глаза эти давно потеряли способность выражать простые дружеские чувства. Слишком долго они видели в людях всего лишь части механизма, предназначенного для его продвижения вверх, и не могли сохранить человечность, которую я по наивности искал в них.

На нем был серый, хорошо сшитый костюм и белая рубашка, выстиранная и накрахмаленная в одной из лучших прачечных города. Манжеты рубашки, застегнутые золотыми запонками, виднелись из-под рукавов пиджака ровно настолько, насколько полагалось. Кожа на руках была бледной и тонкой, как папиросная бумага. Тыльная сторона рук была покрыта сеткой мелких морщин, однако ладони оставались совсем молодыми.

Вот уже шесть месяцев я встречался с людьми этого сорта.

Он вертел в руках письмо, не читая. Он прочел его раньше. Теперь он мысленно подыскивал слова, которые должен был сказать мне, слова неприятные, но неизбежные, с его точки зрения.

Я знал содержание письма — я сам его написал. Оно было датировано 5 декабря 1920 года.

> «Многоуважаемый сэр, — значилось в письме. — Из объявления в сегодняшнем номере «Эйдж» я узнал, что Вы ищете для своей конторы младшего клерка, и прошу принять меня на эту должность.
>
> Мне восемнадцать лет, я студент Коммерческого колледжа, «где изучаю бухгалтерию. Сейчас готовлюсь к выпускным экзаменам. Все предварительные экзамены я уже сдал.
>
> Прилагаю четыре характеристики-рекомендации. Рекомендации служебной у меня нет, поскольку я еще нигде не работал в конторах.
>
> Буду благодарен, если вы примете меня для личной беседы, и я сообщу вам тогда все необходимые дополнительные сведения.

С уважением, Алан Маршалл».

Год назад, когда я только начал рассылать такие письма бизнесменам, нуждающимся в клерках, в нем был еще один абзац:

> «К несчастью, из-за перенесенного в детстве полиомиелита, я хожу на костылях. Это ни в какой мере не скажется на моей работе в качестве клерка и не помешает мне носить тяжелые конторские книги».

Я не получил ни одного ответа на письмо с этим чистосердечным признанием, и долго не мог понять, в чем дело, пока наконец отец, встревоженный отсутствием ответов, сам не прочел одно из моих писем.

Отец долго держал письмо в руках, затем перевернул его и поглядел на обратную сторону, как будто и ее вид имел значение. Потом он опустил письмо на стол, подошел к кухонному окну и уставился на опоясывавшие горизонт голубые горы, гряда которых подходила вплотную к прилегавшему к дому пологому фруктовому саду.

Отец снял этот дом у подножья лесистых холмов в двенадцати милях от Мельбурна специально, чтобы дать мне возможность изучать бухгалтерию. Когда мы еще жили в зарослях, я по конкурсу получил стипендию в одном коммерческом колледже в Мельбурне, и это событие показалось моему отцу своего рода залогом моих грядущих успехов; он не сомневался, что в недалеком будущем видные бизнесмены станут добиваться моих услуг.

Сейчас он столкнулся с действительностью и присматривался к ней с недоверием и затаенной неприязнью, поскольку действительность эта обрушилась на него неожиданно и противоречила всем его представлениям о жизни. Понятия равенства и товарищества — духовные ценности, которые он впитал с детства в далеких зарослях и которые казались ему незыблемой основой человеческого поведения — теперь пошатнулись из-за отношения людей к его сыну. В моих рассказах о встречах с бизнесменами от него не ускользала ни одна подробность.

Он обернулся ко мне и сказал:

— Я бы на твоем месте выбросил слова насчет костылей. Видишь ли… понимаешь… Главное, добиться личной встречи — тогда, мне думается, все устроится.

Мне это показалось нечестным.

— Рано или поздно они все равно узнают. Почему же мне не предупредить их заранее? Если кто-то, кого я не предупредил

заранее, пригласит меня для беседы, я буду чувствовать себя обманщиком, — сказал я.

— И зря, — возразил отец. — Что ты, собственно, сделал? Никого ты не обманул. Ты же написал в письме, что сообщишь все подробности при встрече. Где же тут обман? Если, к примеру, кто-то попросит меня достать ему ломовую лошадь. Что ж, ломовую я и приведу. Но слепую. Конечно, я покупателю об этом скажу, только пусть сначала посмотрит лошадь. Одна из самых лучших моих лошадей была слепой. Ты не обязан им все выкладывать заранее.

— Ладно, — согласился я.

И тогда я стал получать ответы на свои письма. Меня просили зайти в контору для переговоров. Постепенно я стал привыкать к удивлению, появлявшемуся на лицах тех, в чей кабинет я входил, к внезапному интересу, с каким хозяин или управляющий углублялся в мое письмо, чтобы дать себе время оправиться от неожиданности. Затем он набирался решимости, распрямлял плечи и встречался со мной взглядом.

— Так вы на костылях?

— Да.

Я объяснял, как это случилось.

— Гм! Да… Печально.

Поводы для отказа эти люди обычно высказывали в сочувственной форме, обильно пересыпая их общими фразами, и порой начинало казаться даже, что ими руководит бессознательное желание заставить полюбоваться собой.

Таким образом, некоторые бизнесмены бывали очень довольны собой, даже горды тем, как тактично они сумели отказать мне в работе, другие же старались не смотреть мне в глаза, когда я поднимался, чтобы уйти.

Я запомнил одного жизнерадостного человека, у которого была весьма бдительная секретарша.

— Мне это очень знакомо. Представьте себе, я знаю о костылях абсолютно все. Сам ходил на костылях три месяца — несчастный случай во время лыжной прогулки. Меня пришлось потом очень долго возить на работу.

Он посмотрел на свои руки, которые в течение трех месяцев сжимали деревянные перекладины костылей, и улыбнулся.

— Натирает подмышки. — Он не спрашивал, он делился опытом. — Очень немногие, говоря о костылях, представляют это себе. Я себе в кровь стирал подмышки.

Много лет назад, так давно, что это уже казалось тяжелым сном, я тоже стирал в кровь кожу под мышками. Теперь она загрубела, как подошва.

— Да, это одно из осложнений, — сказал я. В другой конторе высокий человек с военной выправкой и седыми усами говорил более прямо:

— Я знаю, что вас не обидит мое упоминание о вашем м… м… ну, вашем физическом недостатке. Он очевиден, и было бы глупо с моей стороны и несправедливо по отношению к вам замалчивать его. Видите ли, этот недостаток делает вас непригодным для той конторской работы, какая требуется в наше время, тут уж я ничем не могу помочь. Если разрешите, я бы посоветовал вам научиться плести корзинки или что-нибудь в этом роде. Я слышал, что существуют заведения, где обучают таким вещам. Они специально созданы, чтобы облегчать участь людям вроде вас, и приносят много пользы.

Отец стоял в саду под яблоней, когда я рассказал ему об этом разговоре. Глаза его вдруг сузились, лицо исказилось, словно ярость, которую он старался подавить, все-таки вырвалась наружу. Он вскинул голову к небу, поднял сжатые кулаки, рывком опустил их и гневно выкрикнул:

— Корзины! Будьте вы все прокляты!

Вскоре я понял, что спорить с людьми, вызывавшими меня для переговоров, бесполезно. Мои попытки убедить их в том, что я справлюсь с работой, только раздражали их.

— В данном случае мне очень трудно быть откровенным, — сказал один из них, не отводя глаз от своих ногтей и пробуя крепость их ногтем большого пальца. — Но я вижу, что вы — человек, с которым лучше говорить прямо.

Он на секунду оторвался от своих рук — и строго, поверх очков, поглядел на меня, как бы усомнившись вдруг, действительно ли я таков, каким он видит меня.

Я почувствовал, что он ждет ответа; может быть, я стану молить о сострадании или начну ломать руки.

Но я сказал только:

— Вы правы.

— Беда в том, что вы калека. — Ногти снова завладели его вниманием. Работая у нас, вам придется доставать тяжелые бухгалтерские книги из сейфов, класть их на стол.

— Я могу носить бухгалтерские книги.

— Да, да… Это хорошо. Но у нас есть лестницы.

— Лестницы меня не пугают.

Он начал раздражаться. Чувствовалось, что обычно он восполнял несостоятельность своих доводов громким голосом и сильными выражениями, но сейчас он подавил желание прикрикнуть на меня и произнес медленно и внятно:

— Вы не понимаете. Все мои служащие должны быть людьми

крепкими и здоровыми. Весьма сожалею.

Он встал и открыл передо мной дверь.

Дверь… дверь… дверь… Сколько их открывалось и закрывалось за мной, длинная вереница дверей, преграждавших мне путь к работе, к независимости!

Люди эти обходились со мной по-разному, в зависимости от характера, но их отношение ко мне диктовалось одним стремлением — оградить свои интересы, свой бизнес. Бизнес означал для них прибыль, а прибыль достигалась умением и работоспособностью служащих. Мои костыли символизировали беспомощность, они могли быть только бременем для бизнеса, и отнюдь не сулили увеличение прибылей.

Однако вслух высказывались всякие другие причины.

…Теперь, сидя за большим полированным столом прямо против человека с толстыми обрюзглыми щеками, я смотрел на ониксовую подставку, из которой, как рога, торчали две ручки, точно защищая хозяина, и размышляя, какие причины придумает он, чтобы отказать мне в работе. На столе, в деревянной полированной рамке стояла фотография женщины с двумя маленькими девочками. Женщина в белом платье сидела на каменной ограде сада, сбегавшего вниз по склону холма, девочки прильнули к ней, обвив ее шею руками. Мне трудно было бы добраться до этого места из большого дома, крыло которого виднелось на фотографии. Костыли обязательно скользили бы по крутому спуску.

Человек за столом, видимо, затруднялся выбрать подходящий предлог для отказа. Он снова положил мое письмо на возвышающуюся перед ним стопку писем. Чиркнул по ним большим пальцем и внимательно вгляделся в них, склонив голову набок, как будто его интересовала высота этой стопки.

— Да, — произнес он неуверенно, как бы принуждая себя принять решение. — Да…

Он похлопал по пачке писем, словно давая понять, что с этим кончено, повернулся ко мне и сказал твердо:

— Боюсь, вы не подойдете для этой работы. Огласив приговор, он уже не считал нужным продолжать в том же духе. Удар нанесен, зачем снова заносить топор?

— Я был бы рад взять вас на работу, — продолжал он. — Но вы просто не справитесь с ней.

Обычно я сохранял хладнокровие, сталкиваясь с этими людьми, и спокойно наблюдал, как они подыскивают подходящие фразы для отказа, но тут я молча потупился.

Отец как-то рассказывал мне о своем знакомом объездчике лошадей, который стремился прежде всего сломить их дух. Когда

ему попадалась горячая лошадь, он, бывало, говорил: «Вот погоняю ее как следует, так небось вся дурь разом соскочит».

Я почувствовал себя такой лошадью. Десятки людей за письменными столами вынуждали меня склонить голову.

Как-то случайный встречный, усталый, изнуренный человек, сказал мне:

— Когда у парня есть работа, ему сам черт не брат, а вот когда он безработный, каждый может им помыкать, и ему хочется только бежать от всех подальше.

Мне захотелось бежать прочь от этого человека за большим письменным столом, играющего в благородство.

Он ждал, чтобы я заговорил. Как бы себе самому я высказал вслух мысль, стучавшую в моем мозгу:

— Мне так нужны деньги…

Кажется, он обрадовался, вероятно, почувствовал, что ему представляется случай проявить великодушие и доброту, которые он считал отличительными чертами своего характера.

— О! — воскликнул он. — Конечно, конечно!

Он сунул руку в карман и вынул два шиллинга, но в этот момент я поднял голову; увидев мое лицо, он спрятал деньги обратно.

Я мог бы сказать ему, что два шиллинга уже лежат у меня в кармане.

Час назад, в ожидании назначенного у него приема, я стоял на Берк-стрит, прислонившись спиной к бетонной стене универсального магазина Манера. Я устал и тяжело навалился на костыли, — так мне было легче. Я смотрел на проходивших мимо людей — на стриженых девушек в маленьких шляпках и коротких прямых платьях; на мужчин в синих костюмах, в накрахмаленных воротничках и широкополых фетровых шляпах. На мостовой предостерегающе звенели трамваи, ломовики тащили телеги, груженные пивными бочонками. Все это двигалось, все имело определенную цель.

Некоторые прохожие бросали на меня взгляд и быстро отводили глаза. Но вот мой вид привлек к себе внимание старой, сгорбленной женщины; она отделилась от потока людей и остановилась передо мной, вертя в руках черную сумку. Замок сумки был сделан из двух никелевых шариков; щелкнув, женщина открыла его.

Пока ее тонкая, покрытая веснушками рука рылась в сумке, старушка смотрела на меня взглядом, которого возраст не совсем лишил теплоты молодости. Лицо ее увяло, но резко прочеркнутые морщины придавали ему выразительность и силу.

Она улыбнулась и ласково сказала:

— Печально, что вы дошли до этого, но у меня когда-то был сын-калека, и я знаю, что это значит. Она вложила мне в руку два шиллинга:

— Здесь немного, но, может, пригодятся.

Я почувствовал, как кровь бросилась мне в лицо. Несколько прохожих остановились, наблюдая эту сцену. Мне хотелось раствориться, исчезнуть, навсегда укрыться от людей. Я опустил два шиллинга в карман и взял ее руку.

— Спасибо, — сказал я. — Может быть, вы никогда не поймете, как ваша доброта помогла мне. Хорошо бы все люди были такими, как вы.

— Благослови вас бог, — тихо сказала она и ушла.

Я встал. Человек, сидевший за полированным столом, явно почувствовал облегчение от того, что разговор окончен, он вскочил и, торопливо обогнув стол, подошел ко мне с протянутой рукой:

— Разрешите, я вам помогу.

— Спасибо. Я сам…

ГЛАВА 2

И вот на одно из моих писем о работе я получил ответ от секретаря Управления округа Донвейл.

Контора Управления помещалась в уединенном поселке Уоллоби-крик, в двадцати восьми милях от Мельбурна. Лавка, кузница, небольшая гостиница и эта контора составляли центр поселка. Они стояли, тесно прижавшись друг к другу на вершине одного из многочисленных холмов предгорья Водораздельного хребта, начинавшегося несколькими милями севернее.

Вокруг поселка, открытые солнцу, лежали отвоеванные у зарослей пастбища. За ними, охраняя подступы к горам, простирались девственные заросли — застава из эвкалиптов и самшитов, обреченно дожидавшихся наступления топора.

В контору требовался младший клерк на жалованье в двадцать пять шиллингов в неделю. Я считал, что на этот раз все шансы в мою пользу немногие позарятся на такую работу: трудно существовать на эти деньги, да и жилье и стол в такой глуши найти нелегко.

«Не могли бы вы приехать в контору для переговоров?» — спрашивал секретарь в конце письма.

Контора находилась в восьми милях от нашего дома; к тому же дорога лежала через горы. Отец повез меня в Уоллоби-крик на двуколке. Мы тряслись по ухабам и рытвинам и рассуждали о будущей работе. Я был уверен, что получу ее. Отец сомневался.

— Смотри, держись с ним посолидней, — советовал он мне. — По тому, как человек просится на работу, можно определить, сколько времени он ходит в безработных. Тот, кто совсем недавно потерял место, высоко держит голову. Он уверен в себе. Лошадь еще не лягнула его. Парень, который давно сидит без работы, идет на верную неудачу. Он и входит-то в контору поджав хвост, как побитый щенок. Держи себя по-другому. Ты не хуже того, кто тебя нанимает. Входи с улыбкой. Если он подумает, что ты давно не работаешь, он обязательно решит, что это неспроста. Кстати, как его зовут?

Я вынул из кармана письмо секретаря и заглянул в него.

— Мистер Р.-Дж. Кроутер, — сказал я, посмотрев на подпись.

— Вот черт! — воскликнул отец, сразу помрачнев.

Мистер Р.-Дж. Кроутер был коренастый, крепкий человек, с круглыми плечами и длинной вытянутой вперед шеей, отчего казалось, что голова опережает туловище. Он был единственным служащим этой конторы, разместившейся в кирпичном двухкомнатном флигеле, и у меня создалось впечатление, что он

тяготится своей работой и был бы рад ее бросить. Говорил он отрывисто, сердитым тоном, но чувствовалось, что раздражение его вызвано причинами личного характера и не направлено против меня.

— Можете получить эту работу, если хотите, — сказал он коротко. — Она временная, без всяких перспектив. У нас запущены налоговые расчеты, и мне нужна помощь.

Он, по-видимому, не нашел в моей внешности ничего из ряда вон выходящего. Человек этот был занят своими заботами, я его только отвлекал.

— Можете начать хоть завтра с утра. — Он сидел, опустив глаза, словно раздумывая, как отразится на нем самом это поспешное решение.

Затем поднял голову и внимательно посмотрел на меня. В глазах его появился интерес, он спросил:

— А где вы будете жить? Ваш дом где-нибудь поблизости?

— Хочу узнать, нельзя ли поселиться в гостинице, — сказал я. — Мне было бы слишком далеко ездить сюда из дома каждый день.

Он покачал головой и процедил:

— Местечко так себе.

Я решил, что речь идет о пище.

— Я равнодушен к еде, — поспешил я заверить его.

— Вот как? — Он соблаговолил улыбнуться. — Ну что ж, может, вам там и понравится. Только есть ли у них место?

— Я сейчас схожу и узнаю. — Гостиница была рядом.

— Прекрасно. Перед отъездом сообщите мне, как вы устроились. — Он взглянул в окно. — Это ваш отец?

— Да.

— Лучше пусть он договорится с хозяйкой, а вы подождите его на улице.

Когда отец вошел в бар гостиницы, там было трое. Он угостил их пивом. Держа лошадь, я наблюдал за ним через открытую дверь.

Потом отец заговорил с женщиной, вытиравшей стаканы за стойкой. Она посмотрела в мою сторону и кивнула головой. Затем она о чем-то долго говорила. Я почти не сомневался, что она рассказывала ему обычную историю про какую-нибудь свою знакомую, у которой тоже был сын-калека, и как она «перепробовала все», чтобы вылечить его, и наконец начала кормить его дрожжами или чем-нибудь еще в этом роде, и «произошло чудо».

Или, может быть, та знакомая растирала сына сухим полотенцем, намоченным предварительно в соленой воде для

жесткости, и тоже «произошло чудо»? Или, может, сын принимал ежедневно морские ванны и через каких-нибудь шесть месяцев встал на ноги. Отец слышал много таких историй.

Когда он вышел и сел в двуколку рядом со мной, он сказал:

— Ну, ты устроен. Комната и стол будут тебе стоить двадцать два шиллинга и шесть пенсов в неделю. Сначала она позарилась на все двадцать пять шиллингов, которые тебе будут платить, но в конце концов, я ее уговорил. Она, кажется, ничего. Во всяком случае, попробуем. Давай так: сейчас поедем домой, соберем твое барахлишко и вернемся сюда после обеда. И завтра с утра ты сможешь начать работу.

Мы ехали домой: но сторонам шумели деревья, журчали среди камней горные ручьи, щебетали птицы. Ничего этого я не заметил по дороге к Уоллоби-крик. Теперь я смело смотрел вперед, я ликовал, и мир был полон очарования. То, что работа временная, без всяких видов на будущей ровно ничего не значило. Это был первый шаг к тому, чтобы стать писателем…

Я вовсе не собирался всю жизнь заниматься бухгалтерией, хотя и изучал ее. Для меня она была лишь средством к существованию, пока я не научусь по-настоящему писать. На клочках бумаги, которые переполняли мои карманы, были записаны не правила составления накладных или учета векселей; там были зарисовки людей, отрывки диалогов, сюжеты моих будущих рассказов.

Я представлял, как сижу в уютном номере гостиницы и сочиняю рассказ, в то время как все вокруг спит, и мир казался мне прекрасным.

Комната, которую я увидел, скорее, походила на чулан. Когда под вечер мы вернулись в Уоллоби-крик, отец внес мой чемоданчик, похлопал меня по плечу и уехал. Я сел на железную кровать с продавленной сеткой, застланную тонким протершимся одеялом, и огляделся по сторонам.

Узенькая кровать заполнила едва ли не всю комнату. Она стояла у боковой стенки, изголовье ее упиралось в окно с грязными стеклами. Через окно видна была задняя веранда, на которой валялись старые носилки, ящики с бутылками из-под нива, пустые бочки, заржавленный ледник для мяса и кучи прелой соломы.

Захватанный сосновый шкаф заслонял часть окна и заполнял все пространство между изголовьем постели и противоположной стеной. У спинки кровати втиснулся умывальник. На умывальнике, рядом с фаянсовым тазом, украшенным бордюром из красных роз, стояла керосиновая лампа с закопченным стеклом.

Обрывок ковра лежал на полу, покрытом линолеумом, — перед дверью линолеум протерся насквозь, обнажив потрескавшиеся, все в занозах, половицы, на которые страшно было ступить босой ногой. В комнате стоял сырой, затхлый запах нежилого, давно не проветриваемого помещения.

Нет, писать в этой комнате я ни за что не смогу! Подавленный, я вышел в длинный коридор со множеством дверей. Двери налево вели в номера; направо в другие помещения гостиницы.

Из двери на кухню доносились голоса мужчины и женщины.

— Знала бы я раньше, и дотронуться до себя ему не дала бы! — говорила женщина.

Мужчина, увидев меня, поздоровался.

Я вошел в кухню. От огромной, заставленной кастрюлями плиты, которая стояла в выложенной кирпичами нише, шел жар. В центре стол, заваленный посудой и немытыми овощами, казалось, взывал к хозяйскому вниманию. Пыль и копоть осели на потолке толстым слоем, который можно было прочертить пальцем. Из большой кастрюли поднимались клубы пара, распространяя запах бульона. Высоко на стене висела увеличенная фотография Карбина[1], который, казалось, молил не дать ему погибнуть в безвестности под покровом жирной сажи.

— Как поживаете? — обратился я к мужчине.

— Неплохо, — улыбнулся он. — Не могу жаловаться.

Он стоял у стола и чистил картофель. Это был небольшого роста смуглый человек с блестящими пытливыми глазами, лет так двадцати пяти. Черные волосы его были растрепаны, во рту не хватало зубов. Нос нависал над верхней губой, образуя вместе с выдающимся вперед подбородком нечто похожее на жвало насекомого.

Полосатая ситцевая рубашка его была расстегнута до пояса, открывая загорелую волосатую грудь в бисеринках пота. Майки он не носил. Брюки едва держались, чуть прихваченные кожаным поясом. Обтрепанные обшлага штанин, закрывая задники ботинок, волочились по полу, так что при каждом шаге он наступал на них.

Со временем я хорошо узнал его. Звали его Стрелок Гаррис. Это был мелкий воришка — карманник из Мельбурна. В промежутках между отсидками в полиции он торговал с лотка пирожками на углу Элизабет-стрит и Флиндерс-стрит.

— Фараоны накрыли меня и велели смыться в двадцать четыре часа, поведал он мне как-то, — поэтому я и окопался в этом кабаке.

Незадолго до моего приезда он потерял свои вставные

челюсти.

— Я тут пьянствовал пару дней, а потом меня выворачивало наизнанку, они возьми и вывались в траву где-то на лужайке, за домом, сейчас никак не могу найти то место — чудно, право… кажется, чего проще: пошел и взял!

После первой встречи с этим субъектом у меня сложилось о нем ложное впечатление. До этого я представлял себе карманников хорошо одетыми, с жуликоватым лицом и руками пианиста. У Стрелка же руки были отнюдь не тонкие, с широкими ладонями и толстыми растопыренными пальцами.

Глядя на него тогда, в кухне, я решил, что это простой, добродушный малый из бедного мельбурнского пригорода, попавший в Уоллоби-крик в поисках работы.

Женщина, стоявшая с ним рядом, не спускала с меня опытного оценивающего взгляда. Глаза ее, казалось, видели все и все понимали.

Полные округлые формы ее тела дразняще выпирали из плена узкого ситцевого платья; выглядела она лет на сорок. У нее был спокойный, пристальный взгляд. Теплоты в нем не было. Сколько измен понадобилось, чтобы так ожесточить ее? Что приходилось ей видеть на лицах мужчин, чтобы приобрести это выражение настороженного хищника?

И все же женщина эта была по-своему миловидна, а улыбка ее привлекательна.

Она была поварихой, звали ее Роуз Бакмен. Муж ее бросил. (Разве удержишь сорокалетнего мужчину, если он тебя не боится!)

— Это ты будешь работать в конторе по соседству?

— Да, — ответил я.

— Родился в зарослях?

— Да, — улыбнулся я.

— Видно, век там не просидишь. — Она ловкими движениями отрезала тесто, свисавшее с противня, и поставила пирог в духовку.

— Как тебя звать? — спросил Стрелок. Я назвал себя.

— А как ты насчет выпивки? — Он усмехнулся, запрокинул голову, поднял руку и опорожнил воображаемый стакан.

— Я не пью.

— Ну, это мы быстро наладим, — пообещал он. Затем взял миску с очищенным картофелем и понес к раковине мыть, оглянулся и подмигнул мне: Мы тут это быстро наладим, приятель!

— А как насчет девочек? — спросила Роуз, возвращаясь к столу. — Есть у тебя девушка?

Вопрос смутил меня, я покраснел и отвернулся:

— Нет.

— Пожалуй, мы его пристроим к Мэзи, — сказала женщина Стрелку, и оба чему-то весело рассмеялись. — Не знаешь, когда она опять приедет?

— Говорила, в пятницу. Снова какого-то простака подцепила! — усмехнулся Стрелок. — Беда с этой Мэзи… Вот уж кто счастья своего не понимает.

Я вышел из кухни и направился вдоль коридора к входной двери. Прошел мимо столовой, гостиной, откуда слышались голоса и смех, и, наконец, мимо бара. Пол в коридоре был неровный и местами прогибался под ногами, как будто балки под досками давно сгнили.

Снаружи, вдоль всего дома, тянулась застекленная веранда, здесь тоже был неровный, трухлявый пол. На окнах веранды, закрашенных зеленой краской, была надпись золотыми буквами «Бар». Во дворе под самыми окнами на двух скамейках расположились разомлевшие мужчины, они уже выпили, и не по одной, и теперь с надеждой поглядывали, не подойдет ли кто и не позовет ли их выпить по новому кругу. Несколько собак лежали у их ног. Из двери бара доносился гул голосов.

Пара двуколок, кабриолет, и несколько телег выстроились на посыпанной гравием площадке перед гостиницей. Нераспряженные лошади дремали под летним солнцем, понурив головы, полузакрыв глаза. Тут же радиаторами к веранде примостились несколько автомобилей. Около одной из машин стояла оседланная лошадь, привязанная к столбу.

Обветшалые покосившиеся ворота, ведущие во двор гостиницы, были открыты, и повисшая на одной петле створка почти лежала на земле. Высокая засохшая трава скрывала нижнюю перекладину, заботливо клонилась над ней защищая от солнца и дождя. Множество белых уток населяло двор. Они внимательно следили за мной, вытягивая шеи, и, когда я вошел в ворота, шарахнулись в сторону. Куры лениво рылись в соломе и сухом навозе, устилавшем двор.

Выход на луг преграждала конюшня под соломенной крышей. Она была построена из грубо обтесанных стволов деревьев, которые когда-то росли здесь же. Четырехугольные стропила покоились в развилке стволов крепких молодых деревьев, врытых в грунт. Время ослабило тиски земли, и теперь бревна, как пьяные, клонились все на один бок, поддавшись напору постоянных ветров. Казалось, вся эта постройка вот-вот рухнет под тяжестью соломенной крыши, на которой нескончаемым кругооборотом рождалась, созревала и умирала трава. Перед

дверью конюшни с открытой верхней створкой стояла корова, медленно пережевывая свою жвачку. Изнутри доносился хруст сена и пофыркивание лошадей.

Белая надпись на загородке из ржавого железа рядом с конюшней гласила: «Для мужчин».

Все, все, что я видел здесь, казалось мне новым и удивительно странным. Это было захватывающе интересно, как завязка исторического романа, сулящего в дальнейшем необычайные приключения в неведомой стране.

И все-таки мне представлялось, что будущее принадлежит людям из зарослей, здесь же бесславно доживало свой век прошлое.

Мне казалось, что жизнь людей в этой заброшенной гостинице подошла к концу, столь же бесславному, как тот, что ждал эти запущенные, разрушающиеся строения. И все же окружавшая меня обстановка обладала своим особым голосом, и я жадно прислушивался к нему, а не к людям, которых я пока что сторонился. Мне претил непристойный разговор, который вели в кухне те двое, я вовсе не хотел слушать всякие пакости.

Здесь, среди уток и лошадей, к которым я с детства привык, мне было хорошо и не хотелось возвращаться в гостиницу.

Я вынул записную книжку и карандаш, уселся на землю с намерением что-то записать, но в голове тотчас же начали сплетаться всякие фантастические истории, и когда я поднялся, чтоб идти ужинать, к моим заметкам прибавилось всего две фразы: «Утки были белы как снег. Грязь никогда не прилипает к крыльям птицы».

ГЛАВА 3

Я вышел на площадку перед гостиницей, где стоял только что прибывший из Мореллы дилижанс. Морелла — городок в восьми милях от Уоллоби-крик — был ближайшей железнодорожной станцией и конечной остановкой дилижанса, возившего каждый день пассажиров к поезду. Вечером дилижанс привозил в Уоллоби-крик пассажиров, нагруженных покупками, сделанными в Мельбурне.

Это был видавший виды дилижанс, он скрипел на все лады и вмещал всего восемь пассажиров, двоим из которых приходилось ютиться на козлах с кучером. Везли этот древний экипаж две лошади, и именно они привлекли мое внимание: бока обеих тяжело вздымались после трудного путешествия: дорога между Мореллой и Уоллоби-крик лежит через крутые холмы, и было очевидно, что эта упряжка недостаточно сильна для такой работы. Лошади покрылись пеной, пот стекал по их бокам темными струйками. Земля под брюхом была сплошь закапана потом.

Одна из лошадей где-то зашибла ногу, бабка была в крови. «Плохо подкована, — подумал я. — Неважный здесь кузнец». У другой лошади были впалые бока и непомерно длинные ноги. Она понурила голову и тяжело дышала, раздувая ноздри и переминаясь с ноги на ногу.

Я пожалел, что со мной нет отца, с которым я мог бы обсудить увиденное. В уме я уже описывал ему этих лошадей и невольно подумал: «Надо ездить домой как можно чаще».

Кучер дилижанса прощался с пассажирами. В большинстве своем это были фермерши, торопившиеся по домам. С кучером они, видимо, были в дружеских отношениях. Они улыбались и махали ему рукой: «До свиданья, Артур!» Кучер глядел им вслед, — казалось, его огорчало, что им приходится тащить такие тяжелые свертки.

Этот человек был похож на хлыст — длинный, гибкий и крепкий. У него были густые, жесткие волосы, широкие брови и легкая походка, как у моего отца — спина прямая, шаги короткие, быстрые. Кучер внимательно посмотрел на меня, будто хотел сказать что-то, прежде чем взобраться на козлы, но раздумал. Затем он въехал во двор, отвел лошадей в конюшню и вошел в дом.

Я не мог пройти через коридор. Дорогу преграждали двое мужчин и две девушки — они стояли перед узким столом около двери гостиной. Мужчины расписывались в большой книге,

лежавшей на этом столе. Владелица гостиницы, Фло Бронсои — с ней я еще не познакомился — задавала им вопрос, с которым обращалась ко всем приехавшим после шести вечера:[2]

— Вы проехали более чем двадцать миль от места вчерашней ночевки?

— Да, — ответил один из расписывавшихся в книге. — Проехал, но сказать, чтобы эта ночевка была хороша, никак не могу. Слушай, Джордж, — говоривший обернулся к спутнику, — распишись-ка и ты здесь, вот на этой черте, и пойдем выпьем чего-нибудь. Распишитесь и вы, девушки, — закончил он.

Девушки жались друг к другу и обменивались ничего не значащими фразами, стараясь скрыть свое смущение. Они торопливо расписались в книге.

Популярность гостиницы имела особые причины, она находилась в двадцати восьми милях от Мельбурна, и здесь разрешалось подавать спиртное любому приезжему, если он подтверждал за собственной подписью, что действительно является путешественником и проехал от места своей последней ночевки расстояние более чем двадцать миль.

Четверо приезжих прошли в гостиную, и я остался наедине с Фло Бронсон. Это была полная женщина, всегда готовая расхохотаться, даже когда речь шла о чем-нибудь серьезном. Когда я узнал ее ближе, то понял, что смех ее к веселью или радости никакого отношения не имел. Когда-то она была богата, владела хорошей гостиницей в Бендиго, содержала на паях скаковую лошадь, раскатывала в машине по городам, где бывали скачки.

Она до сих пор жила в прошлом, и смех, родившийся в ту счастливую пору, — смех ее юности, поры, когда своей веселостью и живостью она привлекала мужчин, — сохранился и поныне. Но некогда чаровавший мужчин — сейчас он оставлял их равнодушными. Аляповатые кольца, платья не по возрасту, более подходящие для молодой девушки, обесцвеченные волосы — с помощью всех этих прикрас она пыталась победить время.

Фло Бронсон любила азартные игры и много пила. Злобное раздражение, которое не могла скрыть вечная улыбка, закипало в ней по мере того, как она напивалась. Она краснела, начинала подозрительно вглядываться в своих собеседников. Оскорбления и насмешки чудились ей там, где их не было и в помине. Если же в чьих-нибудь словах действительно слышалась издевка, она моментально переставала улыбаться, и лицо ее превращалось в неподвижную маску.

Даже сейчас, глядя в ее теплые карие глаза, я ощущал таившееся в глубине их ожесточение.

— Ну, — сказала она. — Как тебе нравится твоя новая работа? Впрочем, что я говорю… Ведь ты же еще и не начал?

Мы стояли в дверях гостиной, на виду у находившихся там гостей. За столиком у самой двери сидели мужчина и женщина. Мужчина был пьян и весел.

— Эй ты! — окликнул он меня. — Пойди-ка сюда, выпей с нами… Ты хороший малый… Иди, иди… Давай выпей, и к черту все! Ведите его сюда, хозяюшка…

Миссис Бронсон нагнулась к моему уху и быстро зашептала:

— Соглашайся! Всегда соглашайся, если тебя угощают. Заказывай виски. А я буду наливать тебе имбирное пиво. Только смотри — выпивай его сразу. Окупишь харчи.

— На, получай его, Алек. — Смех снова зазвучал в ее голосе.

Она положила руку мне на плечо и втолкнула меня в комнату.

— Молодец! — сказал мужчина. — Так и надо. Садись и веселись. Где стул? А, вон он. Давай его сюда. Садись. Что будешь пить? На кой тебе сдались эти палки? Дай-ка их мне. Сунь под стол. Вот так. Эй, хозяюшка, налейте нам. Ну-ка, Руби, допивай! Что это с тобой, ты отстала на два стакана!

Женщина, сидевшая с ним, поднесла ко рту недопитый стакан и вылила пиво прямо в горло, не глотая. Когда-то она, вероятно, была полной, а сейчас сильно похудела, и кожа на ней обвисла. Усталое лицо напоминало маску. Она клевала носом и слегка покачивалась на стуле. Мне она показалась больной.

Женщина осторожно поставила на мокрый стол пустой стакан и подтолкнула его к мужчине. Все это время она неотрывно смотрела в одну точку, как будто искала в ней опору.

— Тебе виски, Алан? — спросила миссис Бронсон, собирая стаканы.

— Да, — ответил я.

— Вот это дело! — воскликнул мужчина, рука его легла на мое плечо. Вот это жизнь, парень! Живем ведь один раз. Веселись, пока можно! Вот какого я мнения, если хочешь знать. Как тебя зовут?

— Алан, — сказал я.

— Молодец, Алан. Ты мне нравишься.

Мне было не по себе. Я помнил слова отца: ни один человек не должен пить за чужой счет, если сам не может поставить в ответ такое же угощение.

— Мне неловко пить за ваш счет, — сказал я. — Я не могу угостить вас.

— Какого черта! Не все равно, что ли! — воскликнул он, отбрасывая мои сомнения презрительным взмахом руки. — Я

хочу поставить тебе выпивку, и все. — Он наклонился ко мне и сочувственно спросил: — Что, дела не блестящи? — И опять положил руку мне на плечо. — Не сомневайся, парень! Не беспокойся! У меня столько денег, хоть жги их. В субботу взял двадцать фунтов за один — в Муни Вэлли поставил на славную лошадку — «Рассвет». Вот гляди! — Он вытащил из кармана пачку банкнот и бросил их на стол. — Видишь, сколько!

Женщина бессмысленно уставилась на деньги. Она икала. Миссис Бронсон вернулась, неся на подносе три полных стакана. Она протянула мне стакан «виски», до половины наполненный коричневой жидкостью, а перед моими компаньонами поставила пиво.

Мужчина бросил несколько монет на поднос.

— Не утруждайтесь сдачей, милая.

— Спасибо, Алек.

— Ну, за удачу! — сказал Алек, чокаясь со мной.

— За удачу! — повторил я.

Я опорожнил стакан одним махом и поставил на стол.

— Черт! — восхищенно воскликнул Алек, который только отхлебнул пива. Глотка у тебя, видно, луженая! Я достал костыли из-под стола и встал.

— Вот что, — сказал я. — Мне надо пойти поесть. Уже полчаса, как был звонок к ужину.

— К черту звонок! — произнес он, слабым жестом выражая свое несогласие и всеми силами стараясь придать голове устойчивое положение. — Пусть себе звонит, проклятый, пока не отвалится. Кто хочет есть? Я не хочу! А ты, Руби? Ты хочешь есть? А, я не знаю! Руби пьяна как сапожник, а я пьян… как… Руби. — Голос его упал, он начал впадать в меланхолию.

— Мне пора, — сказал я.

— Ладно, парень, — Голова его так отяжелела, что он не мог держать ее прямо. Она клонилась к столу, как будто стол обладал какой-то магнетической силой. — Ладно, иди! Мы еще увидимся.

Рот Руби начал растягиваться в прощальную улыбку, но тут же губы сжались: она вдруг поняла, как опасно открывать рот, когда перед глазами все качается, а изнутри подступает тошнота. Руби закрыла глаза, и я ушел.

В столовой стоял нестройный гул голосов. Поднимались и опускались стаканы с пивом, смеялись женщины, мужчины переговаривались со знакомыми за другими столиками… В большинстве своем это были завсегдатаи скачек. Разговор вертелся вокруг лошадей и выигрышей.

— Он все просадил на эту кобылу, одна только двуколка у него и осталась.

— Я не пожалею нескольких фунтов, если вы дадите моему парню сесть на эту лошадь…

— Он просто водит его за нос.

Я сел на свободное место в конце стола. Скатерть здесь была белая и чистая, не залитая пивом и без сальных пятен. Через несколько минут ко мне подошла девушка.

— Ростбиф, жареная баранина, молодой барашек, солонина, бифштекс, пирог с почками, — произнесла она нараспев, глядя на какого-то мужчину в другом конце комнаты.

Девушка эта казалась копией своей сестры миссис Бронсон, только моложе и тоньше. Звали ее Вайолет Эбби, и она была влюблена в одного жокея. Она никогда не смеялась, не улыбалась, только вопросительно смотрела на вас. Я еще не знал тогда, что Вайолет — сестра хозяйки, и меня удивило, почему на место официантки не возьмут девушку, которая улыбалась бы, принимая заказ.

— Бифштекс и пирог с почками, — сказал я.

По другую сторону стола сидели двое мужчин; по виду они походили на рабочих, возможно занятых на ремонте дорог. Один из них показался мне настоящим великаном, ростом более шести футов; он сидел, поставив на стол локти, и чашка чая совершенно утонула в его огромных руках. Его лицо было словно вырезано из куска красного камедного дерева, причем скульптор старался главным образом передать крупные тяжелые черты, не заботясь об отделке. Это было суровое, обветренное лицо, вроде тех, что украшали когда-то носовую часть славных кораблей. Собеседник называл его «Малыш».

Я не успел окончить свой ужин, как к ним присоединился кучер дилижанса. Он вошел быстрым шагом человека, привыкшего иметь дело с лошадьми, и сел рядом с Малышом. Кучер вымылся, переоделся; однако на нем по-прежнему были плотно облегающие сапоги на высоких каблуках. Здороваясь, он посмотрел мне в глаза, и я подумал, что это человек прямой и искренний. Казалось, он хорошо меня знает и давно составил обо мне мнение, которое уже не нуждается в дополнении.

Мне захотелось подсесть к этим трем людям и послушать, о чем они говорят. До меня доносились отдельные слова Малыша:

— Вбежала его старуха и давай кричать: «Ты убил его! Ты убил его!» «Не беспокойтесь, миссис, — сказал я, — Я знаю, в какое место я его ударил».

Немного погодя я перешел из столовой в гостиную и уселся в углу; напротив находилась стойка бара, вход в него с улицы был уже закрыт. За стойкой миссис Бронсон разливала пиво, виски и джин, и мужчины уносили полные стаканы к столам, за которыми

их ждали женщины.

Пьяная парочка, которая усердно угощала меня «виски», исчезла. Двое мужчин, расписавшиеся при мне в книге для гостей, быстро пьянели. Их девушки явно скучали и непрерывно курили. Облака табачного дыма висели в воздухе.

С наступлением ночи поведение посетителей бара заметно изменилось; резче звучал смех женщин, мужчины пли мрачнели, или становились навязчиво веселы. То там, то тут вспыхивал спор. Вот кто-то вскочил, оттолкнув стул, наклонился через стол к человеку, сидевшему напротив, и стал что-то угрожающе выкрикивать. Приятель вскочившего положил ему руку на плечо и спокойно толкнул обратно на стул.

— Перестань, — сказал он.

Пьяные речи все чаще пересыпались руганью. Ругались смачно, выразительно, как будто вдохновляясь отборными словечками. Мужчины, понизив голос, наперебой рассказывали неприличные анекдоты. Женщины охотно слушали их и одобрительно кивали. Когда же анекдот подходил к концу, они в притворном ужасе откидывались назад или смеялись, пряча глаза. Только немногие из них делали слабые попытки протестовать, а одна то и дело повторяла:

— Только без похабщины! Давайте лучше выпьем!

Рабочий, который сидел с Малышом и кучером, заиграл на гармонике. Пары стали танцевать между столиками, тесно прижимаясь друг к другу. Один парень пытался поцеловать девушку, с которой танцевал, она только задорно смеялась, откидывая голову назад. Вдруг он грубо притянул ее к себе и поцеловал в губы.

Эта сцена испугала меня, и я ушел к себе. Зажег керосиновую лампу, сел на край кровати и задумался, В голове все перепуталось. Мне надо было поделиться с кем-нибудь своими впечатлениями. Нет, пожалуй, не с отцом. Я был уверен, что он и понятия не имеет о существовании такой жизни.

В моем представлении поцелуй был связан с любовью. Если мужчина целует женщину, значит, он любит ее, а любовь — это нежность. Ее не выставляют напоказ. «Любовь, — думал я, — обязательно заключает в себе чувство благоговения».

Как груб был поцелуй того человека в баре! Разве это любовь? Но зачем он целовал ее, если не любит? Они, конечно, помолвлены. Не иначе! Разве принято доказывать любовь, целуясь при посторонних? Неужели я жил до сих пор в неведении и только по случайности встречался исключительно с людьми, которые вели себя по-другому…

Я мечтал любить и быть любимым. Девушка, созданная моим

воображением, входила в мой мир танцуя, она появилась из зарослей, чтобы утешить меня в моем одиночестве. Я не знал, где ее дом, кто ее родители. Она просто существовала на свете как птица.

Я улегся в постель с мыслью о ней. До этого вечера девушка из зарослей была для меня реальностью. Теперь я понял, что она лишь мечта. В действительности таких девушек нет; действительность была там — в гостиной, в баре.

Я чувствовал себя больным и усталым от этих непривычных переживаний. «Нет, — думал я, — нет, никогда не напишу я книг, полных той музыки, которую слышат лишь одни дети». Казалось, все рушилось вокруг, и только деревья еще стояли прямые и чистые, впрочем, и собаки хорошие, и они любили меня. И лошади, лошади тоже…

Я долго лежал, глядя в потолок. И уже решил потушить лампу, как вдруг открылась дверь, и вошли две девушки — те самые, которые расписывались в книге. Их появление было столь неожиданно, что от изумления и страха я лишился дара речи.

Одна из девушек, взглянув на меня, рассмеялась.

— Посмотри-ка на него, — сказала она спутнице. — Ты его перепугала насмерть! — Она схватилась за спинку кровати, чтобы не упасть. — Закрой дверь, а то они найдут нас.

Вторая девушка закрыла дверь и подошла к моей кровати.

— Я ведь тебя не напугала, правда? — сказала она, надув губы, тоном женщины, успокаивающей младенца. — Мальчик не боится, нет?

Она села на край кровати, бесцеремонно толкнув меня, чтобы освободить место. Я лежал под одеялом, укрытый до самого подбородка. Девушка оперлась ладонями о подушку и близко нагнулась ко мне, лицо ее оказалось почти рядом с моим. Я почувствовал запах пива, увидел размазанную губную помаду и толстый слой пудры на Щеках. Тяжелые веки наполовину закрывали ее глаза, внезапно выражение лица девушки изменилось, щеки раскраснелись, губы раскрылись, она сказала тихо, сквозь зубы:

— Ты хотел бы переспать со мной, а?

Она ждала ответа, но я не в силах был произнести ни слова.

Не отводя от меня взгляда, девушка все приближала ко мне лицо, и вдруг прижалась губами к моим губам.

Я отстранялся от нее, все глубже вдавливая голову в подушку, но губы девушки не отрывались от моих. Я задыхался, меня тошнило от запаха пивного перегара, от ее хищного рта, от выражения ее глаз.

Она подняла голову, и я смог перевести дыхание.

— Кто-то идет! — вскрикнула, глядя на дверь, стоявшая в ногах кровати девушка.

Та, что сидела около меня, подняла голову и оглянулась через плечо. Дверь открылась, и вошел уже знакомый мне кучер дилижанса. Он бросил на меня быстрый взгляд, и я снова почувствовал, что он видит меня насквозь. Это был взгляд человека, на которого можно положиться.

— Что ты здесь делаешь? — сказал он девушке, все еще сидевшей на кровати; голос его звучал жестко, глаза смотрели сурово.

— Не суйся не в свое дело, пес, — огрызнулась она.

— Убирайся отсюда, — коротко приказал он, указывая на дверь. — Убирайся и оставь его в покое.

— Какого черта… — начала было она.

— Я сказал, убирайся отсюда! — Он сделал шаг. Девушка торопливо встала.

— Только тронь меня, я тебе покажу!

— Убирайся!

Он вышел за девушками в коридор и вскоре вернулся.

— Спи! — сказал он. — Они больше не придут. Я потушу свет.

Кучер погасил лампу и спокойно сказал:

— Завтра ты перейдешь в мою комнату.

Потом он вышел и закрыл за собой дверь.

Я почувствовал себя состарившимся на много лет. То, что я узнал в этот вечер, казалось, навсегда отняло у меня беззаботную юность. «Теперь, — думал я, — я знаю все о мужчинах и женщинах. Я знаю такое, что никогда не смогу повторить. Остаток своей жизни, — думал я, лежа в постели в темноте, — я должен посвятить писанию книг, которые вложу все свое знание жизни; я разоблачу пороки, о существовании которых большинство людей, конечно, и не подозревает.

Я разоблачу всех негодяев, подонков, которых увидел в этом кабаке!» (Лексикон, бывший здесь в ходу, уже явно начал сказываться на мне.)

Но в глубине души жила страшная тревога. Я был убежден, что поцелуй девушки связал меня с ней. Она поставила на мне клеймо, совсем как клеймил лошадей отец; теперь я принадлежу ей.

Я не сомневался, что утром она явится ко мне, чтобы обсудить наши отношения, и, конечно, потребует, чтобы я женился на ней.

Мысль о браке с этой девушкой приводила меня в ужас. Я представлял, как она будет сидеть в моей комнате и пить пиво, в

то время как я буду готовить обед и мыть посуду. И уж, конечно, никогда, никогда я не смогу писать.

Я решил сопротивляться до последнего, если она будет настаивать на браке. Может быть, все-таки найдется какой-нибудь выход? Но что мне делать, если она будет требовать? Ведь по сути дела я почти женат на ней…

Наконец утомление взяло свое. Я уснул, плотно завернувшись в одеяло.

ГЛАВА 4

Утром, когда я встал, оказалось, что девушки уже уехали. Это было для меня неожиданностью. Я вышел из своей комнаты взвинченный, исполненный решимости защищаться до последнего. Я собирался категорически отрицать, что я целовал девушку: это она, она поцеловала меня!

И вдруг все это оказалось зря. Я почувствовал себя обессиленным и усталым. Окончательно убедившись в своей слабохарактерности, я вошел в кухню, подавленный и расстроенный.

Там завтракали Стрелок Гаррис и еще какой-то человек. Роуз Бакмен стояла у плиты.

— Ну, как себя чувствует окружной секретарь сегодня утром? — улыбнулась она.

— Хорошо, — ответил я.

Я поздоровался со Стрелком и его товарищем. Это был румяный рыхлый человечек, с манерами льстивыми и подобострастными. Щеки его опустились, тройной подбородок складками набегал на грудь. Нижние веки отвисли, обнажая розовую изнанку, отчего глаза стали похожи на глаза спаниеля. Голос у него был негромкий, заискивающий.

— Доброе утро, сэр, — ответил он мне.

Стрелок называл его Шеп. Позже я узнал, что Шеи был в гостинице дворником. И вообще выполнял любую черную работу.

Впрочем, основное его занятие заключалось не в этом: миссис Бронсон держала его в качестве приманки для пьяных. Если какой-нибудь погонщик или лесоруб заходил в бар по дороге в город, миссис Бронсон зорко за ним следила; стоило ей заметить, что больше заказывать он не собирается, она кидалась в кухню и совала Шепу монету в два шиллинга. Шеп брал монету, вразвалку направлялся в бар, где и перехватывал посетителя.

— Погоди уходить, выпьем по одной, я угощаю, — добродушно говорил Шеп, кладя мягкую ладонь на руку гостя.

Такое предложение редко встречало отказ, но, выпив с Шепом, посетитель сам ставил угощение, потом следовало угощение от гостиницы.

Тем временем гостя ловко втягивали в разговор, расспрашивали о работе, о жизни, — польщенный вниманием, он пускался в длинный рассказ и обычно оставался в баре, пока не уплывали все его денежки. Тогда, спотыкаясь, он брел к своей двуколке или повозке, уже не помышляя о поездке в город.

— Завтракать будешь здесь или в столовой? — спросила меня

Роуз.

— Здесь.

Она поставила на стол яичницу с грудинкой. Принимаясь за еду, я спросил Стрелка:

— А где Артур?

— Давно уехал. Дилижанс ведь уходит в семь. Вчера Артур порядком нагрузился. Мы всегда знаем, когда он отводит душу, — с самого утра на другой день распевает да свистит себе. Теперь, — добавил Стрелок, — месяцев шесть не дотронется до спиртного.

— Человека всегда можно узнать по тому, что он поет, — задумчиво заметила Роуз, глядя на шипящую на сковороде отбивную.

Мое появление прервало беседу Шепа и Стрелка, и Шепу не терпелось ее возобновить:

— Ну, так что же тот парень?

— Я уговорил его пойти ко мне, — вернулся Стрелок к своему рассказу, пообещал, что мы раздавим бутылочку. Ну, он и пришел — тут уж я проверил его кошелек. Совесть меня не мучает, можешь не сомневаться. Птицы ведь не сеют, не жнут, и сыты бывают. А мы чем хуже? Дело, видишь ли, обстояло так: мне надо было раздобыть деньжат, и побыстрее. В четверг мы с женой здорово поцапались, и похоже было, что она от меня уйдет совсем. Я, собственно, хотел выжать из него десятку, а он все выкручивался и никак не хотел меня уважить. Попробовал было удрать. Ну, тут уж я взялся за дело серьезно и добыл у него пятнадцать монет.

Шепу явно нравился этот рассказ. Он был из тех людей, которые спят и видят, как бы обзавестись деньгами, не работая. Он обсчитывал гостей, подлаживался к букмекерам, в надежде выведать, на какую лошадь ставить, со всех ног бежал из своей каморки при конюшне, чтоб вынести багаж, запрячь лошадей, оказать любую лакейскую услугу — все за мелочь, которую ему швыряли. Деньги эти он держал в кармане и часто украдкой пересчитывал в укромных уголках.

Потом он все пропивал, лихорадочно и поспешно глотая пиво, то и дело вытирая рот тыльной стороной руки. Мне много раз приходилось завтракать с ним. Он был повестью, которую мне еще предстояло прочесть, но я не сомневался, что кончит он в канаве.

Шеп жадно слушал рассказ Стрелка: в воображении он, несомненно, сам силой отбирал деньги у своих обидчиков. Пасуя перед силой, он любил слушать о насилии. Рассказы о разбитых в кровь физиономиях, об ударах в живот, заставляющих сгибаться

вдвое гордых и сильных людей, о бурных ссорах радовали его сердце, успокаивали раздражение, смягчали ненависть. В царстве его воображения никто не осмеливался относиться к нему с пренебрежением, в этом царстве люди, оскорбившие его, жестоко за это расплачивались.

Однажды ночью я наткнулся на него — он лежал ничком на соломе в конюшне и рыдал.

— Боже милостивый, помоги мне! — бормотал он между приступами рвоты.

Я посидел около него, пока он не успокоился.

После завтрака я отправился в Управление округа — начинался мой первый рабочий день. Писавший какое-то письмо мистер Р.-Дж. Кроутер с рассеянным видом проронил: «Доброе утро». Его стол был так завален бумагами, коробками с булавками и скрепками, большими конвертами и бухгалтерскими книгами, что ему пришлось пристроить свое письмо на кипе каких-то бланков.

— Подождите минуту! — бросил он. Закончив письмо, он его запечатал и спросил:

— Ну, как устроились в гостинице?

— Очень хорошо, — сказал я и добавил: — Вы были правы, место это так себе.

— Я знал, что вы и сами скоро поймете это, — буркнул он. — Главное держитесь в стороне. Пойдемте, я покажу, что вам надо делать.

Кроутер повел меня в соседнюю комнату, по дороге он спросил:

— Видели Роуз Бакмен?

— Да.

— Ну, как она вам?

— Да как сказать… — начал я. — Не знаю… мне она не очень понравилась.

— Держитесь от нее подальше, — посоветовал Кроутер. Он взял большую конторскую книгу в кожаном переплете. — Это налоговая книга, по ней вы будете составлять налоговые извещения, вот на таких бланках. Вот кассовая книга, сюда будете вписывать полученные чеки, а потом переносить суммы в налоговую книгу.

Он объяснил мне еще кое-какие мелочи и оставил одного.

Работа оказалась легкой, но задолго до конца рабочего дня меня начало мучить желание выйти на волю, на солнце. Я почувствовал, что работа в конторе отрывает меня от мира, что, запертый в четырех стенах, я теряю связь с землей. Там, за стеной, поют птицы, растут деревья и цветы, но все это не для

меня. День, целый день моей жизни был потерян безвозвратно.

Я с ужасом думал о долгих днях заточения, которые ждут меня впереди, о том, как будет меняться лицо неба и земли, в зависимости от времени года, а меня при этом не будет. Только в воскресенье я буду видеть результаты свершившегося за неделю чуда, но никогда, никогда не увижу чудесного хода этих изменений.

Окна конторы были забраны железной решеткой, словно окна тюрьмы; я и чувствовал себя в тюрьме, у меня всегда было странное чувство, что только земля может дать мне силы, — земля и то, что произрастает на ней. Источник творческой энергии, из которого я жаждал черпать, находился вне этих стен. Он таился в деревьях, в солнечном свете, в зеленых зарослях. Он отождествлялся в моей душе с красотой, музыкой, смехом детей, игравших на лужайке летним вечером.

Так было, но впечатления последних двух дней что-то изменили во мне. Я почувствовал, что сила, необходимая будущему писателю, придет только с пониманием людей. Я должен узнать людей так же близко, как знал деревья и птиц.

После полудня я отложил в сторону налоговые извещения и попробовал набросать в нескольких фразах портреты людей, с которыми встретился в гостинице, но наброски показались мне безжизненными, и я их тут же изорвал.

После работы я уселся на нижнюю перекладину забора возле конторы и стал смотреть, как меняются в свете заходящего дня очертания горных вершин и стройных эвкалиптов; мысли легкие, поэтичные, проносились в моей голове. Овцы, щипавшие траву на лугу внизу, четко рисовались в последних лучах солнца. Воздух был напоен запахом сена; на склоне ближайшего холма стояли стога; собачий лай доносился с отдаленной фермы. Мне казалось, что я, как птица, лечу над желтеющими пастбищами и деревьями. Я кружился в небе, и воздух жужжал у меня в ушах чуть слышно, как жужжит пчела.

Услышав, что подъехал дилижанс, я отправился на гостиничный двор и подождал, пока Артур распряг и накормил лошадей. Потом мы вместе вошли в гостиницу, и он перенес мои вещи к себе.

— Нечего тебе оставаться в той комнате, — сказал Артур. — В будние дни, может, и ничего, а в субботу какая-нибудь девка уж обязательно заглянет туда. Место тут странное, ты таких, верно, и не видывал. У меня тебе будет спокойнее.

Комната у него была большая: две кровати по углам комод со стоячим зеркалом, платяной шкаф и умывальник! Старый матросский сундучок со скромными сокровищами Артура

примостился у стены.

Столик, опиравшийся на три перекрещивающиеся бамбуковые ножки пристроился у самой его кровати. Стол был покрыт грязной белой скатертью, на нем в беспорядке стояли жестянка с табаком, коробка с папиросной бумагой, крышка от банки, полная окурков, эмалированный подсвечник с огарком свечи. В подсвечнике среди обгоревших спичек лежали два дохлых клопа.

Дверь из комнаты вела прямо в кухню, окно выходило на небольшую рощицу.

Мы с Артуром поужинали, а потом долго сидели в его комнате и разговаривали. Он рассказывал мне разные случаи из своей жизни, и этим рассказам суждено было на долгие годы окрасить мое восприятие окружающего мира. Много вечеров подряд я жадно слушал его. Простодушие часто мешало Артуру понимать смысл пережитого им. Многое из того, что было в его жизни, внутренне обогатило его. И только рассказывая и видя, какой инк рее эпизоды его жизни вызывают у слушателя, он начинал осознавать все значение их и по-новому открывал их для себя.

На его пути встречались низость и благородство, и далеко не всегда грань между добром и злом проходила достаточно четко. Но грязь жизни, которая оставляет следы в душе большинства людей, не коснулась его.

Он был по-юношески пытлив и любознателен. Когда я рассказывал ему о себе, он весь обращался в слух и не сводил с меня глаз. Смысл моего рассказа он усваивал медленно, часто повторял: «Скажи-ка еще раз». Но, поняв, что именно я хочу сказать ему, он уже не забывал моих слов.

Любое мое затруднение волновало его, как свое собственное. Он не отмахивался от них, а размышлял над ними и постоянно возвращался к ним. Мне льстило, что он так серьезно относится ко мне. Когда я сказал ему, что мечтаю стать писателем, он ни на секунду не усомнился, что так оно и будет. С тех пор в его представлении я уже стал писателем.

По мере того как крепла наша дружба, он стал болезненно воспринимать любое замечание по моему адресу и совершенно не переносил, когда кто-то начинал жалеть меня. В этих случаях он сразу приходил в ярость и кидался мне на защиту. Стоило кому-нибудь в разговоре со мной упомянуть слово «костыли» или «калека», Артур сразу бросал все свои дела, подходил ко мне и ждал, в каком направлении пойдет разговор. Если мой собеседник был настроен дружелюбно, Артур спокойно уходил.

Случалось, пьяные женщины в гостиной заговаривали со

мной; в этих случаях Артур всегда оказывался поблизости, готовый при первом непристойном слове или жесте позвать меня и увести. Для меня Артур был высшим авторитетом, скалой, за которую я должен был держаться в этом беспокойном житейском море.

Когда приезжал отец, чтобы забрать меня домой на воскресенье, Артур подолгу разговаривал с ним и докладывал во всех подробностях, что произошло со мной за неделю. Отцу Артур очень нравился, и он всецело поручил меня заботам моего нового друга.

В беседах с отцом и с другими людьми Артур называл меня «малец», но в моем присутствии он никогда не употреблял этого слова.

Когда мы познакомились, Артуру было лет тридцать пять; родился он в Мельбурне. Предки его были гугенотами и когда-то бежали из Франции в Англию. Отец и мать Артура вскоре после того, как поженились, покинули Англию навсегда. Оба они умерли.

Юность Артура прошла в беспросветной бедности («бывали времена, когда два шиллинга казались мне богатством»). Ему не сиделось на месте, тянуло посмотреть другие страны, и он постоянно торчал в порту, наблюдая, как разгружают пароходы. И вот однажды, когда в порту бросило якорь парусное судно «Арчибальд Рассел», он пошел к агенту по найму и, после короткой беседы с капитаном, был принят в качестве юнги. Когда через несколько недель «Арчибальд Рассел» вышел в море, Артур был на его борту; так начались его скитания по морям и океанам.

Артур вырос и возмужал в море, оно взрастило в нем чувство гордости и независимости. Лицо его загорело и обветрилось, на нем появились шрамы следы схваток, в которых он отстаивал то, что считал справедливым. Он плавал на многих судах.

В нем проснулся мятежный дух, он стал социалистом. Когда капитану предъявлялись требования об улучшении условий, от имени судовой команды обычно выступал Артур.

— Без борьбы своих прав никогда не отстоишь! — говорил он.

Когда они огибали зимой мыс Горн, судовые снасти покрывались льдом, а людей на мачтах по ночам качало как на гигантских качелях.

— Висишь, бывало, над самым морем, — рассказывал Артур, — белые гребни так и ходят под тобой, а руки у тебя немеют от холода. А в следующий момент мотнет тебя, перелетишь над палубой, и опять над морем, только с другой стороны, и одна только мысль: как бы не разжать пальцы, — а то тут тебе и крышка.

— Как-то ночью в бурю я видел, как человек свалился за борт. Исчез в темноте, и все… Ничего не видно было, только и слышен был крик.

Судно, на котором плавал Артур, заходило в Чили, там оно грузилось фосфатами. Раз судно затерло льдами у Лабрадора, пришлось зимовать там. Все дни напролет | экипаж разбивал льды, которые угрожали раздавить корабль. Случалось им возить надгробья из португальского города Опорто, перевозить турецких паломников через Красное море.

— Мерли они в трюме, как мухи, троим из нас пришлось спуститься туда, чтобы вытащить трупы. А паломники не выдавали своих мертвых, кричали, мешали выносить. Кажется, никогда я не забуду этот трюм, этот смрад. Не знаю, как люди могли там дышать. По-моему, следовало расстрелять владельца такого судна.

Началась война 1914 года, Артур пошел добровольцем в австралийскую армию и после специальной подготовки стал снайпером.

— Уму непостижимо — ну зачем я пошел в армию, — говорил Артур. Выходит, я воевал за того самого сукиного сына, забыл его фамилию, фабриканта, который снабжал обе стороны! А нам голову морочили — уверяли, будто мы сражаемся «за свободу». Помни, Алан, ничего нет хуже войны. В мирное время за убийство вешают, а на войне за убийство дают медали. Есть в этом какой-нибудь смысл, скажи на милость?

Вспоминал Артур и про то, как он был снайпером.

— Каждую ночь кого-нибудь из нас посылали на ничейную землю. Надо было прокрасться туда, залечь в каких-нибудь старых развалинах, или за деревом, или в воронке поблизости от немецких окопов. И лежать там целый день, снимая немцев, а на следующую ночь возвратиться к себе. Тех, кто хотел делать свое дело как следует, надолго не хватало. Стоило тебе уложить несколько человек, как немцы тут же определяли, откуда огонь, и уж тогда все, что у них было, сыпалось на тебя, и ты взлетал на воздух вместе с кирпичами и грязью. Я по большей части лежал на спине и раздумывал о жизни. Выстрелю, конечно, для проформы несколько раз в воздух — и точка!

В битве у Фромеля Артур участвовал в атаке, под прикрытием заградительного огня. Он бросил в блиндаж две гранаты и кинулся следом. Умирающий немец приподнялся на локте и выстрелил наугад. Пуля ударилась о бетонную стену, потом рикошетом оцарапала Артуру голову и застряла в черепе.

— Пришел я в себя на носилках на перевязочном пункте.

Его отправили на излечение в Англию, там ему предложили

вставить в череп металлическую пластинку, но он отказался.

— Я слышал, что парни с такой пластинкой в голове все посходили с ума.

В конце концов он очутился в Австралии, где врачи довольно удачно вставили ему в череп часть его собственного ребра. После чего он был уволен из армии с пенсией в десять шиллингов в неделю и правом получать бесплатно болеутоляющие пилюли, чтобы он мог заснуть, когда боль становится нестерпимой.

— Теперь приходится лезть в драку с оглядкой.

— Ушел было я в заросли, — рассказывал Артур, — да не по мне это как-то. Однажды ночью проснулся в лесу и схватился в страхе за деревцо. Почудилось, что я снова в открытом море. Стало, понимаешь, как-то не по себе одному, захотелось снова встретиться с ребятами… быть ближе к людям и все такое. Думаешь, что можешь жить совсем один, а оказывается, нет; надо о ком-нибудь другом думать, заботиться…

Артур свернул сигарету и закурил.

— Тут как раз я случайно узнал, что парень, который держал прежде этот дилижанс, хочет отсюда смотаться. Ну, я заявился и перекупил у него дело. Раньше, надо сказать, это было выгодно, а теперь автомобили все портят. Видно, придется скоро отсюда уезжать, переберусь тогда поближе к морю.

Во время первой моей пространной беседы с Артуром мне захотелось проверить свои впечатления о жизни этой захолустной гостиницы. Я стал осуждать людей, с которыми встретился здесь и упомянул между прочим, что мужчины часто сквернословят, но Артур перебил меня:

— Знаешь, если парень обзовет кого-нибудь «сволочью», это еще не значит, что он плохой.

— Это-то я понимаю, — сказал я, — но ведь они ругаются при женщинах.

— Послушай, — настаивал Артур, — женщины, которые сюда заезжают, сами ругаются при мужчинах. Мужчина должен сдерживаться при женщине, если она не выносит ругани, ну, а если она сама сквернословит, мужчина может при ней ругаться сколько влезет. Но это, конечно, вовсе не значит, что и ты можешь вести себя так. Нечего тебе по чужим стопам идти — сам не заметишь, как таким же станешь. Ты, Алан, совсем другого склада человек. Начнешь ругаться при женщинах, быстро покатишься вниз. Знаешь, что я посоветую тебе: присматривайся ко всему и помалкивай.

— Понятно, — сказал я и немного погодя спросил: — Послушай, неужели все женщины, которые здесь бывают, — плохие?

— Одни плохие, другие — нет.

— Я лично считаю всех женщин, которые спят не со своими мужьями, плохими. Ведь здесь они спят с чужими мужчинами, верно?

— Да, с некоторыми это случается. Но есть и такие, которые просто заходят в бар ненадолго по дороге домой. Видишь ли, Алан, люди все разные. Тебе с такими женщинами спать не след. Потому что любовью тут и не пахнет. Не то чтобы без любви вообще нельзя было спать с женщинами. Можно. Да только не тебе. Но и осуждать других за это тоже не след. Сначала надо все узнать про них, узнать, что они пережили и почему такими стали.

— Если вдуматься, — продолжал Артур, — это, скорее, грустное место, чем грязное. Настоящие негодяи сюда не приезжают. Они ворочают делами в больших конторах, а именно эти дела толкают тех, что здесь околачиваются, на пьянство и разврат. Так мне кажется, я… я не умею всего этого объяснить. На большинство девчонок, которые приезжают сюда, смотрят как на воскресную забаву — только и всего. Но не вздумай читать этим бедняжкам проповедей.

— Стану я! Вот еще! — воскликнул я. — Просто никак не угадаешь, как себя вести в таком месте.

— Как себя вести? Сидеть в уголке и наблюдать. — Ну, не знаю, правильно ли это, — возразил я, размышляя вслух. — Разве плохо отстаивать свои взгляды?

— Вот что. — Лицо Артура стало серьезным, он наклонился ко мне с кровати, на которой сидел. — Погоди немного — через несколько лет встанешь на ноги, тогда и ты сможешь сказать свое слово. Но не сейчас. Здесь ведь всякий сброд бывает. Иной раз допьются до белой горячки и начинают все крушить. Тут тебе самое время смываться. Что толку в том, что ты прав, если бутылка угодит тебе в голову и ты свалишься замертво.

Довод был убедительный.

Он рассказывал мне о постоянных жильцах гостиницы и о людях, регулярно приезжавших сюда — богачах, которые уединялись в номерах и пили мертвую, иногда по нескольку дней. Когда они наконец появлялись на свет божий, глаза у них были тусклые, одежда грязная, по телу пробегали судороги, как у животного, с которого только что содрали кожу.

— И Шеп такой, только денег у него нет; поэтому, когда он допьется до чертиков, его швыряют в каморку рядом с конюшней. Пропащий он человек! Ты с ним не связывайся. Просто держись подальше, пока он не протрезвится.

Стрелок, тот не прочь позабавиться над ним. Как-то ночью Шеп пьяный спал на полу в конюшне. Лежал он на спине и храпел

во все завертки, а Стрелок решил напугать его, да так напугал, что тот чуть богу душу не отдал. Взял три свечи, расставил вокруг пьяного и зажег их. Шеп проснулся, — ну, думает, помер я! Правда, он после того живо протрезвел.

— Остерегайся Стрелка, парень, — добавил Артур, — это настоящий вымогатель, вечно старается перехватить у тебя пару шиллингов, только на отдачу он плох.

Я спросил о Малыше, и тут Артур улыбнулся.

— Малыш Борк славный парень. Добрей, пожалуй, не встретишь. Вот уж кто все для тебя сделает. Но у него свои причуды. Считает, например, что в войне было что-то хорошее. То ли награду ему там дали, то ли еще что приключилось с ним, не знаю, но вот поди же — уверен, что воевал за свою страну. Малыш из тех, что сами пойдут, если опять начнется война. В этом отношении, скажу я тебе, Малыш — настоящий дурень.

И вот еще что: жену привез он из Англии, и женщина эта, надо сказать, прямо замечательная.

Не вздумай подтрунивать над Малышом: он долго был чемпионом Австралии по боксу в тяжелом весе, и если уж кого стукнет, тот сдачи не даст. Сам, правда, он драки не ищет, но и увиливать от нее не станет. Раз как-то в баре один парень ударил его; не сильно ударил, задел только. Малыш легонько так оттолкнул парня, — а мог бы убить, если б захотел, — и сказал ему, ну, прямо как мальчишке: — «Знаешь, Фрэнк, ты не имел права меня ударить. Никакого права! Вот если бы я назвал тебя слизняком, — потому что, кто же ты, как не слизняк, — тогда другое дело. И знаешь что — отстань-ка ты лучше от меня!»

Вот он какой, Малыш! Но уж если повстречается с хвастуном, тут он своего не упустит. Руней-американец, боксер легкого веса, тот самый, который измолотил знаменитого Сильву на стадионе, частенько сюда заглядывал. Любил покрасоваться в баре и вечно хвастался в таком примерно роде:

«Сильву я уже нокаутировал в Сиднее, а в субботу нокаутирую его в Мельбурне».

Другого такого хвастуна, пожалуй, и не сыщешь. Малышу этот парень действовал на нервы. Что же он выкинул? Поймал змейку — всего дюймов шесть длиной, но здорово шуструю. И опустил незаметненько ее в карман Рунея. А когда Руней опять пошел хвастать напропалую, Малыш вежливо тронул его за плечо и говорит:

«Простите, мистер Руней, у вас в кармане ядовитая змея».

«Что?» — вскрикивает Руней и сует руку в карман.

Тут пошла уже настоящая потеха. Руней взлетел в воздух, как акробат на трамплине. А когда коснулся ногами пола, пиджака на

нем уже не было.

— Рассвирепел он? — спросил я.

— Рассвирепел? — улыбнулся Артур. — Рассвирепел ли ты спрашиваешь? Да, брат, я сказал бы, — он рассвирепел.

— Чувствую, что Малыш мне понравится, — заметил я.

— О, тебе-то он обязательно понравится. Даже когда Малыш пьян, он никого не заденет, ходит себе и орет:

> Я вскарабкался на палубу вслед за Нельсоном.
> И кортик я держал в зубах.
> Потоки крови видел всюду,
> Как вспомню — прошибает страх.[3]

— Но Малыш не выносит Седрика Труэй, — продолжал Артур.

— А кто это Седрик Труэй? — полюбопытствовал я.

— Да, верно, ведь ты еще с ним не встречался. Это букмекер, любовник Фло Бронсон, бывает здесь три-четыре раза в неделю. Седрик Труэй только и делает, что ходит и подслушивает у дверей, а потом бежит к Фло и на всех капает. Если его когда-нибудь не уложит Малыш, это сделаю я. Труэй первым долгом прикидывает — справится он с тобой или нет, сам в драку никогда не лезет. А когда обозлится — глаза у него как у хорька.

— А кто эта Вайолет — девушка, которая подает на стол? — спросил я Артура.

— Родная сестра Фло Бронсон. Я ее мало знаю. Вид у нее такой, будто она никак не сообразит, что бы такое сказать. Смотрит в рот своему парню жокею. Пинкс зовут его, Джимми Пинкс. Злобная скотина — из тех, что любят женщинам руки выкручивать. Подлец! Только и смотрит, кого бы треснуть. В драке норовит поднырнуть под тебя, чтобы потом кинуть через плечо. И уж конечно, не дожидается, пока ты встанешь…

— Похоже, что Джимми Пинкс — порядочная гадина, — заметил я.

— Это уж точно, — убежденно сказал Артур.

ГЛАВА 5

Несмотря на все рассказы Артура о нравах нашей гостиницы тогда и впоследствии, я так по-настоящему и не представлял, до какой степени непристойно это место.

Я нисколько не сомневался в правдивости его рассказов, но полагаться всецело на его мнение не мог.

Я знал, что его оценки завсегдатаев гостиницы совершенно правильны, однако недоумение продолжало тревожить меня: я внимательно приглядывался к этим людям и к их поведению, и все же они оставались для меня закрытой книгой — так не вязались они со всем тем, к чему я привык с детства.

Однажды, когда я кормил уток во дворе, с черного хода вышла девушка и стала бесцеремонно рассматривать меня. Незадолго до этого я видел, как она подъехала к гостинице в машине с хорошо одетым полным мужчиной лет пятидесяти. Он заказал номер на ночь и сразу уселся пить. Я заметил, что он не делал ни малейшей попытки развлечь девушку и вообще не обращал на нее никакого внимания.

Во дворе я присмотрелся к ней внимательнее. На вид ей было лет девятнадцать, может быть, немного больше. На ней было простое платье из голубого полотна, тонкую шею обвивало синее ожерелье. Светлые волосы были коротко пострижены, уголки губ поднимались кверху, и даже в спокойном состоянии казалось, будто она улыбается. Молодой свежий рот словно был создан для радостного смеха.

— Привет! — сказала девушка весело.

— Привет! — ответил я.

Она помолчала, ожидая, что я скажу еще что-нибудь, но так как я ничего не сказал, спросила:

— Ты — уточник?

— Нет, — ответил я, удивленный таким названием. — Просто я стал кормить уток вместо Шепа. Это здешний дворник. Мне нравится их кормить.

— А чем ты их кормишь? — Она близко подошла ко мне и заглянула в ведро, которое я держал.

— Отрубями, разведенными водой. И крошу туда же черствый хлеб.

— Брось им немного, я хочу посмотреть, как они будут есть.

Я стал пригоршнями разбрасывать корм; утки, крякая и толкаясь, бросились на него. Действуя клювом, как совком, они подбирали отруби и хлеб и заглатывали, судорожно дергая головой. Те, кого выталкивали из общей кучи вперевалку

заходили с другой стороны и снова кидались в наступление.

— Они, видно, очень голодны, — заметила девушка. — Часто ты их кормишь?

— Два раза в день. Они всегда так жадно едят.

— Ты работаешь в гостинице? — повернулась она ко мне.

— Нет. Я — клерк в Управлении округа.

— Нравится?

— Нет.

— Почему?

— Видите ли… — Я затруднился сразу ответить на этот вопрос. Приходится сидеть в закрытом помещении.

— А чего ж тут плохого?

— Мне не нравится.

В тоне ее было что-то, отличавшее ее от других женщин, заговаривавших со мной в гостинице. Мне показалось, что она задает мне эти вопросы не из любопытства, а просто потому, что ей хочется доставить мне немного радости.

Мне захотелось вдруг оградить ее от дурного влияния, предостеречь насчет здешних людей, с которыми — я был уверен — она никогда еще не сталкивалась, но чьей беззащитной жертвой скоро может стать по своей наивности.

— Мне кажется, вам не следует оставаться на ночь в этом доме, — сказал я, движимый непонятным мне чувством. — Женщины, которые бывают здесь, не такие, как вы. Это плохие женщины… то есть нет, не все они плохие. Плохо то, что с ними случилось, и, боюсь, случится с вами, если вы останетесь. Я даже сказать вам не могу, что здесь делается, но это ужасно: поверьте мне. Вы ведь можете сказать, что хотите уехать домой и…

Девушка слушала меня сначала удивленно, потом ласково и внимательно, умоляющее, страдальческое выражение промелькнуло, словно тень, по ее лицу.

Когда я умолк, она уставилась в землю, потом подняла голову, взяла мою руку и крепко пожала.

— Ты хороший парень, — серьезно сказала она. — Спасибо. Только, видишь ли, я уже бывала здесь раньше.

Она повернулась и ушла; я стоял с багровым лицом, стиснув руки, охваченный чувством унижения.

В этот вечер мне не захотелось идти в гостиную — я поужинал на кухне и рано лег спать.

Я не только не мог по-настоящему разобраться в темном мирке гостиницы, несмотря на все рассказы Артура; я даже не понимал двусмысленных разговоров, которые вели здесь все эти мужчины и женщины, нимало не стеснявшиеся своих похотливых желаний.

Роуз Бакмен нередко ставила меня в тупик.

— У мужчин руки должны быть сильные, как у негра, — сказала она однажды, глядя на меня прищуренными глазами.

С детства сильные люди рисовались мне в образе лесорубов, валивших лес под раскаленным солнцем, и я попытался заинтересовать Роуз Черным Энди, легендарным героем наших мест, который частенько фигурировал в рассказах моего отца. Черный Энди жил в Уилканнии и рубил лес для пароходов, плывших вверх по реке. Руки у него, говорил отец, были крепкие и сильные, как молоденькие эвкалипты.

Роуз это нисколько не заинтересовало.

— Расскажи эту сказку Малышу, — оборвала она меня.

Мы были одни на кухне, она готовила ужин, я сидел за столом в ожидании Артура.

Роуз явно была расстроена и раздражена. Дело в том, что в тот день уехал обратно в город Рональд Холл, окружной инспектор по охране скота и надзору за собаками, который прожил в гостинице целую неделю. Это был крупный, рыхлый человек, внешне безобидный, скорее, даже приятный, однако, заподозрив, что кто-то скептически относится к его прерогативам, он приходил в ярость.

— Может быть, я олух и ни черта не смыслю, — сказал он мне как-то, — но я не потерплю, чтобы на меня плевали. Если у кого-то заблудился скот, эти люди должны приходить ко мне, а не к членам совета и спрашивать меня, как им поступить. Мне известны все законы насчет бродячего скота. Членам совета они неизвестны. Значит, спрашивать нужно меня и слушать меня без разговоров.

У Рональда Холла было красное лицо и визгливый голос: о нем рассказывали, будто он нередко загонял в казенные загоны скот фермеров, которых недолюбливал.

Я слышал, как один фермер, рассказывая другому о повадках Холла, хвастал:

— Я сам загоню его коров!

— Прежде он загонит твоих, — предостерег его приятель.

— Моих он не загонит, мои всегда за загородкой.

— Ну брат, он сумеет их загнать, даже если они будут заперты у тебя в спальне!..

Холл объезжал свои участки верхом на гнедой лошади, а гостиница была его штаб-квартирой. Возвращался он обычно около пяти часов дня. Если он опаздывал, Роуз выходила на парадное крыльцо и стояла, глядя на дорогу. Седрик Труэй следил за ней из дверей бара.

— Он ведь поехал только на Вторую милю, ему пора б уже и

вернуться! — Пропел он, когда Роуз проходила по коридору в кухню.

— Катись ко всем чертям! — огрызнулась Роуз.

Возвратившись в гостиницу, Холл обычно ставил лошадь в конюшню и, просунув голову в дверь кухни, шептал:

— Договорились на вечер?

Роуз подходила к нему вплотную и говорила:

— В восемь. — Быстро оглядывалась, нет ли кого в коридоре, и, ткнув его под ребро, добавляла: — Не напивайся!

В назначенный час они исчезали вместе.

Но он уехал обратно в город.

— Послушай, — спросила меня Роуз. — Ты любишь гулять?

— Не очень, — признался я. — Хорошо гулять в зарослях, там, где земля ровная и нет загородок.

— А сколько ты можешь пройти?

— Прошел как-то четыре мили, но устал так, что с ног валился.

— Я хожу гулять каждый вечер, — сообщила она. — Люблю пройтись.

Эти слова удивили меня. Никогда бы не подумал, что эта женщина любит прогулки. У меня мелькнула мысль, что я судил о ней неверно, что в глубине ее души, живет любовь к зарослям, к природе, любовь, о которой я и не подозревал.

— Хорошо гулять ночью, — с чувством воскликнул я. — Особенно в такие лунные ночи, как сегодня.

Говоря это, я думал об опоссумах и коалах[4], которых мог бы увидеть, о том, как хорошо стоять молча под деревом и слушать.

— Я хожу только до кузницы, — уточнила Роуз.

Ветхое строение кузницы, с широко открытой дверью и земляным полом, стояло у подножия холма. На стенах висели подковы. Горн с огромными кожаными мехами возвышался около наковальни. Стальные щипцы и тяжелые молоты были разбросаны повсюду, стояли прислоненные к бочке с водой, в которую кузнец погружал раскаленные докрасна подковы. В углу лежало сено, припасенное на случай, если кто-нибудь оставит на ночь лошадь. Ночью кузница пустовала. Выбор такого места для ночных прогулок показался мне странным.

— А зачем вы туда ходите? — спросил я с удивлением.

— Там никого нет, — ответила она, и мягкая, вкрадчивая нота прозвучала в ее голосе.

Я услышал приближающиеся шаги Артура в коридоре.

— Я пойду туда сегодня вечером в восемь часов, — торопливо прошептала Роуз. — Приходи тоже…

— Ну вот, охота была туда таскаться! — ответил я.

Мы с Артуром ушли к себе. У него всегда был запас интересных историй про пассажиров его дилижанса. Я сидел на своей кровати и смотрел, как он считает деньги, полученные за проезд. Это были серебряные монетки, он бросал их в металлическую копилку, которую прятал в комоде под бельем. Время от времени он вытряхивал деньги из копилки на кровать и пересчитывал. Когда набиралось десять фунтов, он относил их в банк.

— Эта Роуз Бакмен довольно странная женщина, — сказал я.

— А что такое? — рассеянно спросил Артур, занятый какими-то подсчетами.

— Любит гулять по вечерам, — продолжал я. — Вот уж никогда бы не подумал!

Артур поднял голову и с интересом посмотрел на меня.

— Да, и я бы не подумал. А что она тебе сказала?

— Просто сказала, что каждый вечер ходит до кузницы. Мне показалось, она хочет, чтоб и я ходил с ней. Все-таки отдых от работы в гостинице…

— Но что именно она сказала? Прямо позвала тебя с собой?

— Нет, только спросила, люблю ли я гулять.

— И что ты ответил?

— Я сказал, что нет.

— Правильно. На том и стой.

По всей видимости, Артур остался мной доволен.

В тот вечер он после ужина раньше меня вышел из-за стола и прямиком отправился в кухню. Я решил, что он собирается отчитать Роуз Бакмен за то, что она позвала меня на прогулку, и расстроился, подумав, что этим он ставит меня в положение ребенка. Роуз Бакмен выросла в моих глазах, как любительница природы, и я вовсе не хотел, чтобы Артур высмеивал эту светлую сторону ее натуры.

На следующее утро за завтраком Роуз Бакмен встретила меня свирепо:

— Не смей передавать, о чем я с тобой говорю! Понял? Держи свой болтливый язык за зубами!

ГЛАВА 6

Местные жители: дровосеки, рабочие с ферм и лесопилки, заходившие каждый вечер в бар пропустить стаканчик-другой, — презирали приезжих из города, привозивших девушек и устраивавших с ними попойки. Презирали, однако с завистью поглядывали и на их кричащие костюмы, и на их спутниц, и на то, как они сорят деньгами. Приезжие пили в баре рюмку за рюмкой, а местные терпеливо ждали, когда они упьются окончательно, в надежде, что тогда можно будет поразвлечься с их девушками. Но когда им на самом деле представлялся случай поговорить с приезжими девушками, дровосеки и рабочие смущались и не знали, что сказать.

— Хуже всего, когда девчонка попадается хорошенькая, — сказал мне один парень после неудачной попытки затеять разговор с девушкой. — Глупо же ни с того ни с сего говорить, что я люблю ее, а что еще ей скажешь, черт побери?

В этом поселке никто не читал книг. Разговор вертелся обычно вокруг работы, выгодной или невыгодной, вокруг жалованья, неожиданных болезней, которые могли помешать работать, вокруг вечной погони за заработком, чтобы прокормить жену и детей. Прежде всего приходилось решать насущные вопросы, а уж потом думать о книгах.

Пожилой человек с сильной одышкой сказал как-то при мне:

— Чудно! Рублю деревья, и ничего, могу, а вот нагнуться, яму для столба вырыть сил нет.

Батрак, получавший на ферме фунт в неделю, сравнивал свою нынешнюю работу с прошлогодней: «Тот хозяин позволял мне мыться в ванной каждую субботу. Я не пропускал ни одной субботы, и он ни словом меня не попрекнул. Ел я всегда с ним и его женой за одним столом, спал в хозяйском доме».

Меня удивляло, почему они не бросают работу, на которую так горько жалуются, почему смело не выскажут людям, так бесстыдно эксплуатирующим их, все, что о них думают. Рабочий с лесопилки, худой, с изможденным лицом, ответил мне на этот вопрос так:

— Да, я трус и останусь трусом, пока у меня семья на руках. Но как только дети встанут на ноги, мне все будет нипочем, никого не испугаюсь. Тебе повезло, брат: никого кормить не приходится.

Я долго искал человека, с которым можно было бы поговорить о книгах, и наконец услышал об одном охотнике, каждую субботу посещавшем гостиницу.

— Этот парень только и говорит про то, что вычитывает в книгах, сказал мне Малыш Борк. — Познакомься с ним.

Охотника этого звали Том — и промышлял он кроликами. Когда я заговорил с ним о книгах, он радостно улыбнулся.

— Жить не могу без чтения, — сказал он. — Так было и с моим отцом и с дедом — если верить отцу. Но люблю я только правдивые книги, терпеть не могу вранья. Подавай мне чистую правду.

Малыш, рассказывая о Томе, говорил, что лицо у него сморщенное, как позавчерашний пудинг, а по-моему, оно больше напоминало грецкий орех. Такое же съежившееся и коричневое. А глаза как маленькие черные бусинки. Был он ужасно болтлив, как человек, уставший от одиночества.

У него была привычка жевать табак и оставлять жвачку на столбике калитки около уборной, куда он часто наведывался. Плевал он уголком рта и способен был плевком убить муху на стойке бара, только «почему-то им тут это не нравится».

Меня заинтересовало его правдолюбие, и я спросил, что он читает.

— «Журнал правдивых детективных историй», — сказал он не без гордости. — Я его выписываю.

— А что это за журнал? — уже разочарованно спросил я.

— Лучший журнал на свете! — безапелляционно заявил Том. — Там печатают только то, что было на самом деле, в газетах такого никогда не найдешь. Вот, например, в последнем номере, который я получил, есть рассказ про девушку в Америке это случилось, — один мерзавец пригласил ее покататься в машине и изнасиловал. Там про это рассказано. Потом он отвез девушку обратно в город, а она пошла к этим самым детективам и все им рассказала. Ну, через несколько дней детективы и задержали одного парня… Она, как увидела его, сразу крикнула: «Он!»

— Что только легавые с ним не делали, парень твердит одно — не он, и все тут. Начали они его пытать — стоит на своем. Ну, что будешь делать!..

Нет, ты сам должен прочитать, что судья сказал про этого парня, выругал он его самыми последними что ни на есть словами и дал ему десять лет.

Ну, а из детективов кое-кто все-таки сомневался, может, и впрямь не он. Стали они снова искать, и через год арестовали другого парня, как две капли воды похожего на того, который сидел уже в тюрьме. Ну, будто они близнецы, да и только. Помучались они, пока ту девушку нашли, но нашли все-таки и показали ей нового парня. Увидела она его и говорит: «Тебя что,

из тюрьмы выпустили?»

«Так это же совсем другой человек», — говорит ей детектив, и она чуть не падает в обморок.

— Короче говоря, теперь они посадили второго парня, а первого выпустили. В журнале и фотография есть — девушка пожимает руку тому малому, которого выпустили. Она говорит — и это все под фотографией написано: «Я вас публично обвинила в том, что вы меня изнасиловали, а сейчас я публично заявляю: вы не виновны». По ее щекам в этот момент текли слезы — это тоже написано, — только на фотографии слез не видно.

— Полицейские, конечно, тоже сказали — до чего же нехорошо получилось, что его в тюрьму засадили. И пожали ему руку. Это тоже все засняли. А девушка проявила себя просто замечательно! Сказала, ей достаточно было раз взглянуть на него, и она сразу поняла, что он не мог ее изнасиловать. И они опять пожали друг другу руки, и это тоже засняли.

Беседы с местными жителями дали мне представление об их жизни, искалеченной всякого рода лишениями. Эти люди были лишены всего уверенности в завтрашнем дне, образования и цели в жизни. Как все это изменить? Я не находил ответа на этот вопрос — ведь по существу, я был таким же, как они.

Я все чаще искал их общества. Мы были в одинаковом положении, и это роднило нас. Встречи с ними стали как бы внутренней потребностью для меня, хотя после этих встреч я чувствовал себя еще более встревоженным и неудовлетворенным. Мне эти люди нравились, они не раз восхищали меня, но пути к лучшей жизни были им неизвестны, и указать их мне они не могли.

Меня тянуло к людям, в разговорах с которыми я мог бы найти какой-то ответ на мучившие меня вопросы. Сдавленные и скованные, теснились во мне желания и надежды, рассказы и стихи, еще не облеченные в форму, но уже ждущие своего слушателя. Я хотел вырваться из окружающего меня мирка сложившимся писателем, вооруженным собственным опытом, а не подавленным им. Однако нередко то, что происходило вокруг, еще больше отдаляло меня от освобождения, к которому я так стремился.

Случалось, меня почти насильно затаскивали в бар люди, которые, потеряв под влиянием винных паров обычную сдержанность, во что бы то ни стало хотели показать, на какие дружеские чувства они способны. Алкоголь вызывал в этих людях желание заключить в свои объятия всю вселенную. И обычно они настаивали, чтобы я пил с ними. Обняв меня за плечи, они рассказывали буфетчице, которая подавала им через стойку два

доверху налитых стакана, какой я замечательный малый.

— Для этого парня у меня всегда найдется время. Он далеко пойдет. Вот увидите.

Один из таких добрых людей, спасаясь от серости жизни, изрядно выпил в день получки; он долго держал меня у стойки бара — рассказывал о своей лошади, которая была привязана снаружи.

— Раньше я всегда давал старухе хороший глоток виски. Не потому, что лошадям это надо, а просто потому, что больно уж она хорошая старуха. И она так рада была, даже бутылку лизала.

В тот вечер в баре и в гостиной было полно народу. В Мельбурне днем состоялись скачки, и многие прикатили сюда на машинах на всю ночь, поразвлечься. Трое приезжих — типичные жулики на вид — стояли кучкой в баре, с откровенным презрением поглядывая на окружающих. Старый золотоискатель, тяжело топоча башмаками, подбитыми гвоздями, вошел в бар. Те трое не двинулись с места, чтобы дать ему дорогу.

— Чего ж ты коня за дверью не оставил? — буркнул ему через плечо один из тройки.

Старик взглянул на него, удивленный его тоном, но обиды не понял и продолжал медленно протискиваться к стойке; лицо его оставалось совершенно спокойным.

Спутникам остряка это замечание показалось удивительно удачным. Они громко хохотали и превозносили находчивость своего товарища. Дружно вспоминали другие случаи, когда он блистал остроумием, и, глядя друг на друга, кивали в знак одобрения головами. Они явно радовались возможности польстить человеку, перед которым раболепствовали, которого боялись.

А тот принимал лесть, расправив плечи, с улыбкой превосходства. Нетрудно было догадаться, что это скупщик краденого, который просто взял с собой тех двух, как берет собак охотник, отправляясь на охоту.

Артур говорил мне, что такие типы — народ весьма подлый:

— Все они трусы, бахвалятся, когда за спиной дружки или револьвер при себе имеют, а один на один сразу начинают скулить, чуть только кровь им пустишь.

Те двое называли своего главного «Мясник». Одет он был дорого, но кричаще. Плечи ярко-синего в белую полоску костюма были подложены, чтобы казаться шире. Плотно облегающий пиджак был стянут в талии, расширялся книзу и доходил чуть не до колен. Тупоносые ботинки ярко-желтого цвета, атласный галстук заколот бриллиантовой булавкой. Фетровая светло-серая шляпа щегольски сдвинута на затылок. Пальцы украшали

массивные серебряные кольца печатки с замысловатым рисунком, закрывавшие весь сустав.

Лицо главаря выражало высокомерное раздражение; когда же он встречался глазами с кем-нибудь из присутствующих, взгляд его становился еще и подозрительным. На вид ему было лет тридцать.

Один из его спутников был маленький человечек с лисьей мордочкой, тонкими поджатыми губами и пожелтевшими от табака пальцами; глаза его так и бегали. Третий в этой компании был рыжий верзила, с тупым веснушчатым лицом; у него были водянисто-голубые глаза с красными веками без ресниц. Плечи широкие, руки — короткие, сильные. Обезображенное ухо свидетельствовало о том, что ему не раз жестоко доставалось на ринге.

Взяв пустые стаканы своих спутников, Мясник направился к стойке довольно необычный поступок для людей его типа, привыкших, чтобы мелкая сошка сама прислуживала им. Стойку бара плотным кольцом обступили посетители. Заметив, что рядом со мной есть место, он стал протискиваться вперед.

Я восседал на высокой табуретке у самой стойки, стакан имбирного пива стоял передо мной; я всегда сидел в баре — слишком уж тяжело стоять на костылях и держать в руке стакан. Большинство посетителей, получив наполненные стаканы, спокойно отходили от стойки, чтобы очистить место следующим, но все они, как должное, принимали то, что я продолжаю сидеть.

Мясник грубо толкнул меня, так, что я чуть не слетел с табуретки.

— А ну, подвинься! — гаркнул он.

В испуге я повернул к нему голову и увидел лицо, поразившее меня холодным злобным выражением. Мои костыли были прислонены к стойке, я потянулся за ними и вдруг почувствовал на своем плече тяжелую руку. Рядом со мной стоял Малыш Борк. С высоты своего огромного роста он посмотрел на Мясника и негромко сказал:

— Этот парень как сидел, так и будет сидеть! Никому своего места он не уступит!

Мясник вздрогнул, на миг я увидел в его глазах трусливое выражение. Он остановился, неуверенно поглядел на Малыша, потом дотянулся до стойки и торопливо поставил стаканы. Малыш подождал, пока стаканы были налиты, и Мясник вернулся к своим спутникам.

Я почувствовал, что не могу больше оставаться в баре. То, что кому-то пришлось меня защищать, показалось мне унизительным. Я сам должен был дать отпор подлецу, а там — будь что будет, —

думал я. Ведь принимая чье-то заступничество, я с каждым разом делаюсь все больше и больше беспомощным.

Когда же я сам смогу постоять за себя? Когда же?

Когда?

Позднее мы с Артуром сидели в гостиной и пили стакан за стаканом имбирное пиво за счет букмекера, праздновавшего удачный день на скачках. Кругом смеялись и пели, одна из девушек танцевала между столиками испанский танец.

Мясник и его спутники сидели неподалеку. Они пили, заговаривали с проходящими девушками, приглашая их за свой столик. Неудачи обозлили их, и они стали вести себя вызывающе.

Мясник несколько раз бросал недобрые взгляды в мою сторону, шептал что-то своим собутыльникам, и те, в свою очередь, поглядывали на меня.

Вдруг Артур встал и перешел к столу, за которым сидел Малыш Борк. По-видимому, ему нужно было сообщить Малышу что-то очень важное и имеющее отношение к Мяснику, потому что Малыш время от времени бросал на того пронзительный взгляд.

Мясник встал из-за стола и собрал стаканы. Чтобы попасть к окошечку бара, ему не нужно было проходить мимо меня, но он вдруг свернул и двинулся прямо ко мне. Остановился, впился в меня взглядом, схватил мой пустой стакан, понюхал и презрительно сунул его мне под нос.

— Водичка, а? Денежки зарабатываешь, сукин сын? Прикарманиваешь разницу! Двинуть бы тебя как следует!

И он направился к бару. Я остолбенел, только через минуту значение его слов дошло до меня и обожгло; страшная ярость охватила меня. Я почувствовал потребность ударить этого человека, швырнуть его на пол. Но тут же мучительное сознание своей физической немощности, невозможности справиться с ним овладело мной.

Я поднял голову. Надо мной наклонился Артур.

— Иди спать, Алан.

— Ты слышал?..

— Я слышал. Иди спать.

— Почему это? Я… я…

— Послушай, я прошу тебя. Эта сволочь не отстанет от тебя. Прошу тебя. Иди.

— Ладно, — смирился я, — ладно. Видно, такая уж моя проклятая судьба вечно спать отправляться.

Артур проводил меня взглядом, лицо его было бледнее обычного, сжатые кулаки тяжело опирались на стол.

Я почитал немного, стараясь отвлечься, потом уснул.

Когда на следующее утро я проснулся, Артур уже был одет. Я взглянул на него сонными глазами, довольный тем, что могу еще часок полежать. Артур разглядывал свое лицо в зеркале, стоявшем на комоде. Он хмурился, ощупывал щеки, потрогал шею и затем открыл рот и стал двигать челюстью из стороны в сторону. Я решил, что он собирается бриться. Но он, взглянув на часы, торопливо пошел в кухню; я слышал, как он разговаривал там со Стрелком.

И вдруг я вспомнил вчерашний случай, и ужас охватил меня. Я скорчился в постели, зарылся лицом в подушку, без конца повторяя: «Сволочь, сволочь!» Потом сбросил одеяло и стал быстро одеваться.

Когда я вошел в кухню, там был только Стрелок. Он всегда вставал очень рано, чтобы растопить плиту и подать чай постояльцам. Стрелок был в веселом настроении, я налил себе чаю и приготовился слушать.

— Ну, что ты теперь скажешь про Артура?

— Про Артура? А что? Что он сделал?

— Да разве он тебе не сказал?

— Нет. Что?

— Черт подери! Так ты ничего не знаешь! — Стрелок явно был доволен тем, что на его долю выпало первым рассказать мне волнующую историю. По лицу его было видно, что он намерен извлечь из этого максимум удовольствия.

— Ну давай, — торопил я его.

— Помнишь вчерашнего типа — ну, этого Мясника, который назвал тебя сукиным сыном? Он — гангстер, из некрупных, так, мелочь. Я его знаю. Стрелок от удовольствия потер руки. — Это, брат, получилось здорово! Вот послушай. Как только ты ушел, Артур подходит к нему… вот так… смотри…

Стрелок в несколько шагов пересек кухню и остановился прямо передо мной. Глаза его сузились, голос звучал холодно и твердо: «Ты только что назвал моего друга сукиным сыном. Может, и меня так назовешь?»

Стрелок улыбнулся, довольный произведенным впечатлением, и быстро заговорил:

— Мясник поворачивается, вскакивает и делает шаг назад; но тут он видит, что его дружок — рыжий, который с ним сидел, — тоже вскочил, и на душе у него вроде бы веселее стало. «И назову! — говорит он, а сам так и рыщет глазами — есть еще кто с Артуром или нет? — Эй ты — сукин сын!» — и становится в позу, чтобы стукнуть Артура как следует. Да только того врасплох не захватишь.

«Так и запишем, — говорит Артур. — А теперь выйдем-ка во

двор, я хочу пощупать, крепкий ли хрящ сидит в твоем жирном носу, пока ты снова не сунул его куда не следует».

— Артур это умеет, — сказал Стрелок с чувством, как бы в назидание себе. — Ты еще драться начать не успел, а он уже тебя так раздразнит, что ты себя от злости не помнишь.

— Теперь уж черед Рыжего, — продолжал Стрелок. — Это его работа — свою шею вместо Мясника подставлять. Он застегивает пиджак и говорить Артуру: «В морду схлопотать захотелось? Это мы можем!»

Но тут вступает в дело Малыш.

«А ты не суйся, — говорит он и как ткнет Рыжего в грудь своей ручищей. — Не суйся, если хочешь остаться цел».

Рыжий ничего, стерпел. Видно, что от злости его разрывает. Но молчит. Понимает: не того он разряда, что Малыш.

Ну, тут мы, конечно, вышли всей компанией во двор. Можешь не сомневаться, я тоже. На себя я взял третьего из этой шайки, щуплого этого Пройдоху. Если б он только рот раскрыл, я бы ему показал. Значит, таким манером идем мы все в конюшню, фонарь я несу. В конюшне, конечно, более подходящее место, чем во дворе, Артур хотел как раз в конюшне. Я выгоняю старую корову, и все мы забираемся туда.

Малыш берет на прицел Рыжего, а я становлюсь сзади своего Пройдохи. А Рыжий все натаскивает Мясника, все натаскивает — учит подойти ближе к Артуру и дать ему головой под подбородок. Я-то понимаю, о чем речь, вижу, он головой работает.

— А Мясника заставили снять кольца? — спросил я.

— А ты думал! Я-то забыл, но Малыш не дурак, говорит: «Здесь без кастетов!» Мясник собрался было спорить. Но я там был не зря, можешь не сомневаться. Мы с Малышом делаем шаг вперед, и Мясник тут же снимает кольца и отдает их Пройдохе. Пройдоха кладет их в задний карман, по правде говоря, я их три раза пытался вытащить. Я все держался рядом с Пройдохой, а когда Артур стал наступать и погнал Мясника на нас, я залез-таки ему в карман, но вытащить не удалось.

— Ну, а дальше, дальше-то что было? — нетерпеливо перебил я Стрелка, раздраженный этими отступлениями от темы.

— Ну, дальше Малыш скомандовал: «Ногами не бить, Мясник, — попробуешь, не обрадуешься».

Ты ведь видел, Алан, как Артур дерется, — голову вскинет, выпрямится и пошел!.. Он что справа, что слева, одинаково хорошо бьет, захват у него вроде как у пассажира в качку. Мясник приседает, сжимается в комок и кидается вперед, но тут же начинает задыхаться. Эта сволочь ведь никогда в жизни не работала. А Рыжий, верно, подучил его дать Артуру сразу так,

чтобы тот не очухался. Вот он и кинулся. Ну, Артур, конечно, влепил ему по-настоящему — раз, другой, третий! — но сразу осилить тоже не смог.

Сцепились они и давай кружить. Тут Артуру немного попало. Но потом он вырвался и уж больше не подпустил Мясника близко к себе, стал лупить его то правой, то левой, и Мясник только знай увертывается. Сам он никак не мог стукнуть Артура как следует, но потом все ж изловчился и чуть было не сшиб его с ног. Черт! Но Артур все-таки удержался.

Минут пятнадцать прошло, и Мясник стал выдыхаться, из носу у него текла кровь, у Артура губы тоже были разбиты. Мясник все старался обхватить Артура, навалиться на него всей тяжестью и тогда уж дать, но Малыш командовал: «Не подпускай его, Артур, не подпускай!» Артур и не давал Мяснику подойти близко. И правильно, легковес ни в коем случае не должен противника близко к себе подпускать.

Кровь из носа Мясника лилась уже прямо ручьем, он и Артуру всю рубашку перепачкал. Но тут старый дурень О'Трэди из Северного Уэрпуна не выдержал и как завопит: «Ради бога, Малыш, хватит, ради бога, останови их!» Вот же старый болван!

Но Артура разве остановишь? На какую-то минуту они сошлись совсем близко и лупили друг друга куда попало, но потом Мясник не выдержал и отскочил. Смотрю а глаза у него бегают от страха, как у лисицы, попавшей в капкан.

Малыш тоже это понял и орет: «Он сдрейфил! Трусит, собака! Кончай его, Артур! Дай ему!»

Тут все кругом заорали, даже такие парни, про которых и не подумаешь, что способны кричать, толкаются, лезут вперед, орут: «Дай ему, Артур!»

Двинул Артур Мясника правой, а потом пригнулся и дал ему левой, прямо в поддых, а еще распрямился, чтобы сильнее вышло. От этого Мясника чуть было на воздух не вскинуло! Ну, тут уж он обмяк и свалился на солому.

А дальше, брат, все уже точно с ума посходили. Стали ни с того ни с сего колотить друг друга. Были чуть ли не все пьяным-пьяны и не стали разбираться, кто кого и за что колошматит. Малыш уложил Рыжего, я Пройдоху поставил на голову в навозную кучу, но вот кольца, черт меня побери, так и не сумел взять.

И Стрелок не без восхищения закончил свой рассказ словами:

— Да, ночка была! Что надо!..

ГЛАВА 7

Я сидел на перекладине забора у своей конторы. Каждый вечер после работы я сидел так, мечтая, жадно впитывая в себя окружающий мир. Я смотрел, как тонкие стебельки трав выцветали и умирали под горячими лучами солнца, смотрел, как из-за холмов надвигается дождь, вдыхал аромат земли, разбуженной ливнями, после которых начинали лопаться семена в почве, и крохотные острые травинки тянулись вверх к свету. Я наблюдал вечный круговорот — появление ростка, безудержное стремление его исполнить свое назначение на земле, созревание семян, смерть и снова возрождение к жизни.

А я смотрел на все это со стороны, я не принимал во всем этом никакого участия, я не был ни солнцем, ни дождем, ни кормилицей-землей. Семена жизни, заложенные во мне, дремали. Красота природы, которую я видел, сидя на перекладине, не радовала, а повергала меня в уныние, эта красота только подчеркивала уродство и бессмысленность окружавшей меня жизни.

Необходимость корпеть в конторе, да еще жить в таком окружении, вызывали во мне чувство злого отчаяния. Я иногда весь передергивался, стараясь отогнать тяжелые мысли, Я легко раздражался, но мне приходилось сдерживаться, чтобы не выходить из себя всякий раз, когда Артур или Малыш открыто старались оберегать меня. Я не мог обойтись без их покровительства, но прямой помощи старался избегать всеми силами.

Не помню случая, чтобы отец протягивал мне руку помощи в затруднительном положении — разве когда другого выхода не оставалось. Со своей добротой и пониманием он смотрел далеко вперед. Он всегда готов был встать на мою защиту, но в то же время старался приучить меня к самостоятельности. Даже когда я еще не был калекой, он воспитывал меня так, чтобы я смог, жить и побеждать в мире, в котором останусь когда-нибудь без его поддержки. Что произойдет со мной, когда его не станет, — если он будет всячески ограждать меня от людей, пусть подчас несправедливых и жестоких.

Когда я еще мог бегать, как другие ребята, я часто падал и обдирал себе колени гравием. Несмотря на мой рев, отец никогда не бросался меня поднимать.

— Вставай! — ласково говорил он. — Подумаешь — коленку оцарапал. Велика беда! Я всегда ходил с ободранными коленями, когда был маленьким.

И он заводил разговор о чем-нибудь другом, а я, прихрамывая, шел рядом.

Ему очень нравился один рыжий мальчик, с которым я часто играл. Отец мальчика умер. Мать, тихая, скромная женщина, бывало, подходила к дверям дома, где служила у фермеров экономкой, и смотрела на сына с ласковой улыбкой. «До чего же на отца похож!» — говаривала она.

Рыжий мальчик никогда не плакал, когда падал и больно обдирал себе коленки.

— Мальчики не плачут, — вызывающе говорил он дрожащими губами. Это внушила ему мать.

Я тоже любил этого мальчика и, падая, стал повторять его слова. Отец был явно доволен мной.

Отец считал — хотя никогда не умел как следует выразить свою мысль словами, — что дети, с которыми чересчур нянчатся, вырастают избалованными, а ребенок, воспитанный самостоятельным, независимым, станет в свое время человеком, на которого смогут опереться в трудную минуту слабые. А это отец считал высшим достоинством.

— Как веточка согнута, таким и дерево вырастет, — сказал он мне однажды.

Когда я был еще ребенком, наш священник попросил отца разрешить мне раз в неделю приходить играть с его детьми. Трудно сказать, почему он счел, что я ровня его детям — хорошо одетым, вежливым и скромным. Возможно, священник просто жалел меня — калеку — так, по крайней мере, думал отец.

Отец разрешил и высказал при этом неожиданную для священника мысль: «Может, вашим это только на пользу пойдет». Такое замечание не только изумило, но и огорчило доброго пастыря, который, однако, следуя библейскому завету, раздражение сдержал.

Это был первый и единственный раз, когда меня пригласили в гости, поиграть. Перед отходом отец лишь сказал мне: «Пора этим ребятам сбросить путы, в которых он их держит. Ты им покажи, что на людях жить веселее».

Я не понимал тогда глубокого смысла этих слов, теперь же, сидя на своей перекладине, подставляя лицо солнечным лучам, я вдруг осознал их значение. Теперь я сам был как стреноженная лошадь, не в силах освободиться от ненавистной веревки, вынужденный довольствоваться выжженным лугом.

Этот день начался для меня плохо, отчего моя неприязнь к людям усилилась и стала заметней.

Рано утром на дороге, ведущей с гор, появился воз дров, запряженный парой ломовых лошадей. Бородач, шагавший рядом,

вез дрова на продажу в город. Он, наверное, долго валил в горах сухие деревья, пилил их и колол. Топор в кожаном чехле был привязан к возу. Так тщательно оберегать свой топор станет только человек, который дорожит им.

На дровосеке поверх серой рубашки был поношенный жилет, новенькие заплаты украшали штаны из грубой холщовой ткани. «Работа прилежной жены», подумал я. Дровосек остановил лошадей у гостиницы, положил подпорки под колеса и зашел в бар выпить.

Едва заслышав, как он крикнул лошадям: «Тпру, стой!» — Фло Бронсон в розовом халате поспешно открыла дверь бара. Она встретила его улыбкой и веселым замечанием о погоде.

Я только что проводил в путь Артура и зашел в кухню позавтракать. Интересно, подумал я, что предпримет Фло, чтобы задержать дровосека в баре, пока появятся другие посетители и начнется общий разговор.

В кухне Шеп уже ждал своего выхода. Он то и дело облизывал бледные сухие губы, беспокойно слонялся по комнате, часто подходил к двери и заглядывал в коридор, который вел в бар. В нетерпении он сжимал и разжимал пальцы.

— С перепоя ломает, — сказал он Стрелку.

— Да, провернули вчера неплохо! — заметил Стрелок; глаза у него были красные от недосыпу. — У меня у самого с утра язык как суконный был.

Я кончил завтрак и уже поднялся из-за стола, чтобы отправиться на работу, когда Фло Бронсон заскочила в кухню и сунула Шепу несколько монет.

— Живо! — коротко бросила она и торопливо побежала в бар; Шеп зашаркал вслед за ней.

Дровосек уже направлялся к крыльцу, но Шеп ловко перехватил его. Они все еще о чем-то говорили, когда я уходил в контору. Шеп играл свою роль умело, не грубо: после дружеской беседы, естественно, труднее отказаться от приглашения выпить. Кроме того, за это время у клиента должно было появиться чувство, что он недопил.

Когда я пришел из конторы пообедать, дровосек стоял в баре в компании мужчин и громко о чем-то разглагольствовал. Время от времени он замолкал и кивал с довольным видом, соглашаясь с собеседниками, которые, конечно, сочувствовали его невзгодам и во всем поддакивали. Шеп, выполнивший свою предательскую работу, чистил конюшню с обиженным видом человека, незаслуженно попавшего в опалу. Он кидал отчаянные взгляды на дверь бара, в надежде, что кто-нибудь позовет его выпить.

Меня тревожили лошади, которых дровосек оставил у входа.

Они томились под горячим солнцем целое утро, и передняя в упряжке была неспокойна. Я вышел взглянуть на них. В оглоблях стояла могучая клайдесдельская кобыла с широким крупом. Воз был без тормозов, и удерживать его, когда дорога шла под гору, было делом нелегким. Нагружен был воз тяжело, и изрядную долю этой тяжести лошадь принимала все утро на свою спину. Я задумал опустить лежавшие вдоль оглобель и продетые в кольца подпорки, чтобы переложить на них груз, приходившийся на спину лошади, но у меня не хватало сил сделать это.

Я попросил помочь человека, который стоял на веранде, тот подставил плечо под оглоблю и поднял ее, затем освободил подпорки, опустил их и упер в землю. Кобыла переступила с ноги на ногу и заняла более удобное положение. Придя в кухню, я сказал Стрелку про этих лошадей:

— Напоил бы ты их после обеда.

— Ну знаешь, — ответил он раздраженно. — Я и себе-то выпивку не всегда достаю, стану я еще каких-то лошадей поить.

Стрелок в это время помогал Роуз с заказами, которые передавала Вайолет, возвращаясь из столовой в кухню. Монотонно звучали слова, возвещая появление Вайолет с пустым подносом.

— Ростбиф два раза… яблочный пирог и сливки — один раз.

Стрелок быстро ставил на поднос заказанные блюда. Я сидел за кухонным столом, раздумывая, что бы такое съесть.

Я неизменно обедал на кухне, чтобы Вайолет не приходилось подавать мне в столовой, да и вообще я почему-то считал, что место мое здесь.

Отказ Стрелка напоить лошадей рассердил меня, но я заставил себя сдержаться. Я встал и положил себе сосиски с картофелем прямо из кастрюли на плите. «Когда-нибудь, — подумал я, — мы со Стрелком обязательно сцепимся», но тут же отогнал от себя эту мысль. «Уж не трус ли я?» — мелькнуло в голове.

Ход мыслей Стрелка был мне чужд и непонятен.

— Вот уж никогда не стал бы красть ненужную мне вещь, — сказал он как-то, считая, что это оправдывает его воровские повадки. А когда я стал возражать, он рассвирепел, и я ушел, осыпаемый градом ругательств. «Но не всегда же я буду так уходить», — твердо решил я тогда.

Итак, я сидел за столом и ел сосиски, Вайолет распахнула дверь и вошла со своим подносом.

— Бифштекс с яйцом один раз похоже что легавый, — быстро, без знаков препинания произнесла она.

Полицейские в штатском иногда закусывали в гостинице,

разыскивая кого-нибудь или проверяя, как ведут себя стукачи из числа воров и жуликов. Обычно легавых узнавали сразу. Если этого не случалось, они сами раскрывали свое инкогнито Фло Бронсон, никогда не бравшей с них денег за угощение и щедро оплачивавшей их услуги.

— С полицией можно ладить, если уметь ублажать ее, — сказала однажды Фло, наливая мне стакан имбирного пива и взимая за него цену стакана виски с заезжего горожанина, который угощал в баре всех и меня в том числе.

— Если ты с ними честен, — продолжала Фло, — и они понимают, что ты не собираешься их надуть — можно откупиться от них несколькими шиллингами, в случае если тебя накроют.

Стрелок боялся полиции и ненавидел ее. Услышав сообщение Вайолет, он на мгновение застыл, потом подошел к холодильнику и вытащил бифштекс, с неожиданной злостью плюнул на мясо и бросил его на сковородку.

— Вот тебе, проклятый! — яростно произнес он.

Отвращение охватило меня. Я оттолкнул тарелку, чувствуя, как что-то темное и скверное подымается во мне и душит. И в то же время я понимал Стрелка и в глубине души сочувствовал ему. Это сочувствие тут же испугало меня, так как по своей наивности я решил, что скоро буду смотреть на мир глазами Стрелка.

Уходя после обеда на работу, я завернул по дороге в бар, взглянуть, как там поживает дровосек. Фло Бронсон принесла ему тарелку мяса с овощами, он ел прямо у, стойки, рядом стоял стакан пива.

Когда в пять часов вечера, окончив работу, я возвращался из конторы, лошади все еще стояли на старом месте. Я поспешил в бар, твердо решив, что заставлю хозяина напоить их. Дровосек сидел уже на скамье у стены, голова его свешивалась на грудь, он что-то бормотал себе под нос, покачиваясь из стороны в сторону, — казалось, что он вот-вот упадет. Усилием воли он резко выпрямлялся и вызывающе поднимал голову, как человек, готовящийся предстать перед судом. Но через минуту снова обмякал, и глаза его начинали закрываться.

— У моего постреленка есть мозги, можете мне поверить, — бормотал он снова и снова.

Фло Бронсон потеряла к нему всякий интерес, он уже истратил все свои деньги. Я положил ему руку на плечо.

— Ваши лошади хотят пить, — крикнул я ему, мне каялось что громкий голос может скорее проникнуть в остаток сознания и затронуть в нем какие-то чувства, еще оставшиеся трезвыми.

Он выпрямился, посмотрел на меня, в бессмысленном взгляде появился проблеск мысли.

— Что такое? Кто хочет пить? — воскликнул он, пытаясь подняться на ноги.

— Ваши лошади, — повторил я.

— Лошади! — Лошади были для него все. Спотыкаясь, дровосек вышел из бара, я последовал за ним. На полдороге он вдруг пошатнулся и его понесло в сторону, но он совладал с собой, остановился и стал оглядываться, ища свой воз.

— Вон там! — сказал я и пошел вперед.

Он снова двинулся в путь, спотыкаясь и выписывая кренделя, и кое-как добрался до воза. Он постоял с минуту около него, держась за полено, потом быстро вскарабкался на дрова, схватил вожжи, привязанные к борту, и крикнул: «Но-о, Панч! Но-о, Бетти!»

Я приподнял оглобли, освободил и продел в кольца подпорки, выбил тормоза из-под колес. Передняя лошадь двинулась и стала заворачивать воз с поклажей; лошадь, шедшая в оглоблях, навалившись плечом, помогала ей развернуться.

Следы колес, оставленные возом с утра, еще виднелись на дороге. Лошади пошли по старой колее, глубоко вдавливая копыта в почву, а на шаткой груде бревен мешком сидел бородатый дровосек, похожий на кучу рваного тряпья.

Я уселся на свою перекладину и достал записную книжку.

ГЛАВА 8

В холодные вечера уютнее всего было посидеть и поболтать на кухне. Столовая, даже когда в огромном камине пылал огонь, производила впечатление безликой; комната давала кров, но не отражала вкусов и наклонностей своих обитателей.

Вид протертого линолеума, который топтало столько ног, нисколько не огорчал женщину, купившую его в свое время. Деньги на него не были накоплены упорным трудом. Ее муж и дети не ходили по нему. Он просто лежал на полу.

В вычурной вазе с позолоченными ручками, стоявшей на каминной полке, уже больше года торчал пучок засохших эвкалиптовых веток. Липкая бумага, свисавшая с потолка, представляла собою кладбище прошлогодних мух.

Столовая никогда не слышала детского смеха. Смех, звучавший в этих мрачных стенах, не объединял людей, он был данью взаимной вежливости, не больше.

Зато гостиничная кухня ничем не отличалась от кухни каких-нибудь фермеров. Роуз Бакмен начищала плиту до блеска, а Стрелок следил, чтобы она щедро топилась в холодные вечера. Кухонный стол был выскоблен до белизны, над ним был приколот старый календарь. Чашки, висевшие на медных крючках, украшали буфет, полный посуды.

Поскольку именно здесь я слушал большинство рассказов Артура, кухня всегда напоминала мне о нем.

Любопытно, что женщины, приезжавшие в гостиницу, избегали заходить на кухню. Может быть, потому, что она могла напомнить им собственный заброшенный очаг. Женщины чувствовали себя свободнее в столовой, там ничего не напоминало о доме, там была атмосфера, сулившая веселье без помех и всяческие развлечения.

Иногда Артур, Стрелок и я играли на кухне в покер. Научил меня игре Стрелок, хвастаясь при этом крупными суммами, которые он якобы то выигрывал, то проигрывал в игорных домах, куда часто захаживал, когда жил в городе.

— Не сомневайся, парень! Было время, когда и пятьдесят фунтов были для меня не деньги.

Под влиянием этих рассказов я, подобно Шепу, начал верить в легкий путь к богатству… Сами по себе деньги никогда не представляли для меня интереса. Но рассказы Стрелка о крупных выигрышах давали повод помечтать о том, как удача в картах помогает мне избавиться от жизни клерка и, спокойно отдаться писательскому труду.

Я живо представлял себе, как, сидя за столом, заваленным банкнотами, непроницаемый и суровый, я сдаю карты. Люди, с которыми я играю, — богачи, ставящие на карту сотни, тысячи фунтов… На рассвете, проигравшись прах, они, спотыкаясь, покидают сизый от табачного дыма игорный зал, а я, уверенный в себе и спокойный, выхожу, сажусь в такси, и мои карманы так набиты деньгами, что мне трудно идти.

Я даю десятку шоферу: «Сдачи не надо!»

Как он мне благодарен, этот воображаемый шофер. Но тут мечта искушает меня отправиться к нему домой. Я даю деньги на образование его детей, оплачиваю сложную операцию его жены, за которую согласен взяться только один знаменитый хирург.

Но и после всех этих чрезвычайных расходов у меня остается достаточная сумма, чтобы заниматься свободным творчеством.

Я получал двадцать пять шиллингов в неделю и двадцать два шиллинга шесть пенсов платил за комнату и питание. На все остальные расходы у меня оставалось два шиллинга шесть пенсов. Эти два шиллинга и шесть пенсов были для меня состоянием. Раз в неделю я покупал «Бюллетень»[5] и углублялся в изучение напечатанных в номере рассказов. Остающиеся два шиллинга я разменивал на мелкие монеты и носил в кармане, часто пересчитывая их. Это были мои собственные деньги, мой заработок!

В покер мы играли на пенсы, и меня поражало, до чего же везет Стрелку. Артур играл без особого интереса, что выиграть, что проиграть — ему было безразлично. Несколько пенсов не имели для него значения, проигрывал он весело.

Для меня же имел значение каждый пенс — они составляли весь мой капитал. Я понимал, что должен копить их, потому что вскоре опять окажусь без работы. Мистер Р.-Дж. Кроутер не раз советовал мне «поискать работу, на которой легче продвинуться».

Но я не трогался с места, предвидя, что найти другую работу мне будет не так-то просто, и боясь трудностей.

Но в конце концов отец посоветовал мне бросить эту службу и попытаться найти что-нибудь получше.

— Если сидеть и ждать, никогда ничего хорошего не добьешься, — сказал он и добавил, думая успокоить меня: — А с Артуром дружбу ты всегда сохранишь.

Итак, я подал заявление об уходе из конторы. За три дня до того, как отец должен был приехать за мной в двуколке и навсегда увезти отсюда, я сидел за кухонным столом со Стрелком и Артуром и играл в покер.

В кармане у меня было всего два шиллинга, но я успокаивал себя тем, что, уходя с работы, два шиллинга иметь я все-таки

буду, так как при расчете получу плату за неделю. Я сел за стол, не сомневаясь, что проиграю и на этот раз. Всякий раз после покупки «Бюллетеня» я проигрывал оставшиеся два шиллинга Стрелку, который смягчал горечь проигрыша похвалами моему искусству.

— У тебя задатки хорошего игрока, можешь не сомневаться!

После часа игры у меня оставалось три пенса. Артур позевывал, ему хотелось спать, он проиграл девять пенсов. Я уныло смотрел на Стрелка, сдававшего карты, — мысль о том, что я скоро останусь без работы, мучила меня. Я надеялся, что Стрелок выиграет следующую игру и можно будет больше не волноваться. Лучше проиграть все, думал я, чем остаться с тремя пенсами.

Карты так и мелькали в руках Стрелка, и вдруг я увидел, как он быстрым движением вытащил из-под стола карту и подложил ее себе. Это потрясло меня. Я никогда не допускал и мысли, что в нашей игре возможно мошенничество. Я считал, что воровские наклонности Стрелка не могут распространяться на нас. Дружеские отношения, казалось мне, обеспечивали безусловную честность всех участников игры.

— Ты смошенничал! — не веря собственным глазам, закричал я. — Ты смошенничал!

И вдруг, по выражению его лица, понял, что жульничал он всегда, ив течение многих месяцев обворовывал меня. Стрелок вскочил, оперся руками о стол и приблизил искаженное злобой лицо к моему.

— Врешь, сволочь, — сказал он сквозь зубы. — Я сверну тебе шею, проклятый мальчишка.

Ярость Стрелка была для меня только лишним доказательством его вины. Не помня себя от бешенства, вцепился ему в глотку. За годы хождения на костылях мои руки сильно развились. Я рванул его так, что он перелетел через стол, потащив за собой и меня. В следующий момент он грохнулся об пол, я рухнул на него.

Но и падение не заставило меня разжать рук. Стрелок начал молотить меня кулаками по голове, откатываясь при каждом ударе, чтобы иметь возможность размахнуться. Я опустил голову и впился подбородком ему в плечо.

Стрелок попытался ударить меня коленом в пах, но я повернулся, и его колено угодило мне в бок. Я чувствовал, как прогибаются мои ребра под его ударами. Он старался схватить меня за горло, и я еще сильнее сдавил его. Он рывком перевернулся на живот, и я оказался под ним. Тогда он приподнялся, увлекая меня за собой, и снова грохнулся вниз,

сильно стукнув меня головой об пол. Мы катались по полу. Он злобно пинался, мотал головой, старался боднуть меня.

Вдруг я почувствовал, что он как-то обмяк, рука Артура легла мне на плечо:

— Отпусти его, Алан!

Все это время он стоял над нами, как судья на ринге.

Я разжал руки и встал, держась за стол. Стрелок лежал на полу, тяжело дыша. Я стоял, понурив голову. Наконец Стрелок поднялся и плюхнулся на стул, положив голову на руки. Грудь его вздымалась. Он закашлялся. Артур принес воды, и он жадно выпил.

Артур повернулся ко мне:

— Ты как — ничего?

— Ничего.

Я отошел от стола и сказал Артуру:

— Пожалуй, я пойду к себе.

— Хорошо. Я сейчас приду.

Я прошел в нашу комнату, закрыл за собой дверь и, прислонившись к ней, постоял с закрытыми глазами в темноте. Тяжелое дыхание Стрелка было единственным звуком, доносившимся из кухни.

Потом Стрелок заговорил:

— Не будь он калекой, я бы с ним живо разделался, можешь не сомневаться. Пришлось поддаться, потому что я боялся за него. Но если он меня еще когда-нибудь тронет, я из него дух вышибу.

Я распахнул дверь и влетел в кухню, как бык на арену. Стрелок испуганно вскочил. Я с шумом захлопнул кухонную дверь — в ней не было замка — и повернулся к нему:

— Я калека, да! Я тебе покажу, какой я калека! И ринулся к нему, чувствуя в себе необычайную силу и уверенность.

Стрелок в страхе повернулся к Артуру:

— Останови его!

— Ты же сам напросился, — спокойно сказал Артур, Он не двинулся с места.

Стрелок начал отступать. Я — за ним. Внезапно, шмыгнув мимо меня, он бросился к двери. Прежде чем он успел открыть дверь и выскочить в коридор, я швырнул в него костыль.

Артур поднялся и принес мне костыль.

— Сядь и успокойся.

Я молчал.

— Как ты себя чувствуешь? — встревоженно спросил Артур.

— Паршиво.

— Вид у тебя так себе. Сейчас я налью тебе чашку чая.

Мы сидели и молча пили чай. Через некоторое время я перестал дрожать и улыбнулся ему:

— Ну?

— Завтра я покажу тебе прием, как вывихнуть плечо. Силы в руках у тебя для этого достаточно. Это лучше, чем хватать за горло, если затеялась настоящая драка. Действует отрезвляюще. Никогда не хватай за горло; ты сам не знаешь своей силы.

— Твоя правда, — согласился я.

— Но смотри применяй этот прием, только когда тебя совсем припрут к стенке. Не твое дело — драться с кем-то одним, твое дело — драться со всем миром.

— Что?.. что ты хочешь этим сказать? Как так драться со всем миром? Ты, вероятно, хочешь сказать… Не думай, что я ненавижу Стрелка, я…

— Это я и хочу сказать.

— Ничего не понимаю, — в голове у меня путалось. — Этот подлец обкрадывал меня, но я знаю, что если завтра он явится ко мне и попросит что-нибудь сделать для него, я пойду и сделаю. Мягкотелый я — вот в чем моя беда, сволочь мягкотелая! Я ненавижу скандалы, понимаешь.

Мне от них плохо делается. Стоит мне ввязаться в ссору, я потом два дня никуда не гожусь.

— А ты ведь мог его убить, — сказал Артур, продолжая думать о своем.

— Что ты?! — воскликнул я. — У меня и в мыслях этого не было! — Это ни черта не значит — было у тебя в мыслях или не было. Парень, можно сказать, находился при последнем издыхании, когда я велел тебе отпустить его.

Его слова испугали меня.

— Я, пожалуй, лягу, — еле выговорил я. — Хорошая мысль. И я тоже.

Уже раздевшись, он сказал мне тоном почти извиняющимся:

— Я не стал встревать в вашу драку, мне кажется, ты не хотел, чтобы я вмешивался, но я был тут же, рядом. Ты ведь понял?

— Да, — ответил я. — Я понял. Спасибо за то, что ты не вмешался, Артур.

КНИГА ВТОРАЯ

ГЛАВА 1

Наш дом в Уэрпуне стоял на вершине холма. Это был небольшой, обшитый тесом домик, с двускатной крышей, с трех сторон его окружала веранда. Позади дома находился птичий двор, обсаженный самшитовыми деревьями, и сразу за ним выгон, занимавший три акра и спускавшийся к плотине на дне глубокого оврага. На этом выгоне паслась серая лошадь, она или щипала редкую траву, или стояла, насторожив уши, поглядывая в сторону дома и прислушиваясь, не задребезжит ли жестянка из-под керосина, в которой отец каждый вечер приносил ей в стойло резку.

Дом был окружен фруктовым садом. С веранды открывался вид на долину, лежавшую по ту сторону проселочной дороги — долина была разделена загородками на отдельные выгоны, среди которых приютился одинокий домик. За долиной поднимались холмы, покрытые зарослями, а между холмами петлял ручей — Уэрпун-крик, путь которого был отмечен кустами черной акации.

К северу поднимались вершины Большого водораздельного хребта, синие в пасмурные дни, бледно-голубые и призрачные — в дни, когда воздух струился от летнего зноя.

В этом тихом уголке я провел целый год, пока не нашел себе новую работу.

Теперь, когда я стал старше, мне полагалась большая зарплата, поэтому найти человека, который взял бы меня службу, было много труднее. Куда дешевле нанять мальчишку, только что со школьной скамьи, чем взрослого.

Утро уходило у меня на писание писем в ответ на газетные объявления; вторую половину дня я гулял вдоль ручья, испытывая при этом такое чувство свободы и восторга, которое не смогли омрачить даже мои неудачи в поясках работы. Соприкоснувшись вновь с этим чистым миром, я словно растворился в нем, ощущая себя частицей леса, солнца, птиц. Острота нового открытия этого мира была настолько сильной, что я готов был кричать от радости, раскрывая объятия небу, или лежать, прижавшись лицом к земле и слушать музыку, которая доступна лишь тем, кому открыт вход в волшебное царство.

Крупный, прозрачный песок, сухие листья эвкалипта, побелевшие сучья, куски коры — все полно было значения для меня. Земля в зарослях казалась мне поэмой, сами заросли — призывом к поэзии.

Тени и солнечный свет, тянувшиеся ко мне ветви деревьев, шелест трав, все эти причудливые формы, краски и запахи, — для

того чтобы до конца познать их красоту, нужно было отдать себя им всего без остатка. Мне казалось, что целую вечность я пробыл узником в темнице и только теперь, освобожденный, обнаружил красоту, скрытую в мире. Но одновременно пришло и горькое сознание своей неспособности поделиться этим открытием с людьми, заставить и их почувствовать извечную красоту, окружающую их. И это сознание принесло с собой и муки, и слезы, и чувство какой-то утраты.

Я хотел поведать о том, что открылось мне, если не в книгах, то хотя бы устно.

Иногда, восхищенный видом редкой орхидеи или стремительным полетом птиц, я делал попытку увлечь взрослых в чудесное путешествие, на поиски правды, которая лежит по ту сторону видимого мира. Но такое путешествие требовало эмоционального отклика, свойственного детям и редко встречающегося у взрослых. Им казалось, что мои духовные порывы — признак незрелости.

Вооруженные книжными знаниями, жизненным опытом и верой в общепризнанные авторитеты, они были неспособны сами участвовать в чуде, в лучшем случае они могли благосклонно взирать на тех, кому это чудо открывалось. Годы отрочества и юности, давно оставшиеся позади, всегда отмечены, как звездами, ослепительными вспышками ярких переживаний. Те же переживания в более зрелые годы никогда не вызывают вспышек.

То, что некогда казалось волшебным, при повторении воспринимается как обыденное, и наступает время, когда глаза и уши перестают воспринимать поистине чудесное и волнующее. Все это становится лишь поводом для воспоминаний, которые, как спичка, загораются на мгновение и гаснут. Все уже было; все повторится снова! Я же сознавал, что каждый миг таит в себе неведомое чудо, что каждая минута может принести мне никогда и никем не изведанное очарование.

Когда со свойственной мне наивностью я пытался поделиться этими чувствами с кем-нибудь из взрослых, их интерес вызывало не чудо, вдохновившее меня, а детскость, которую я обнаруживал перед ними. Взрослые люди, как правило, стараются убедить тех, кого считают наивными детьми, что уж они-то всего в своей жизни насмотрелись и всем пресытились. Они всегда все знают. Мольба: «Открой и мне, чего ты ищешь, мои глаза, увы, слабы», могла исходить только от человека большой души.

Ребенок — это взрослый, глаза которого открыты, — так сказал мудрец. Именно в детях я нашел сочувствие, без которого заглохла бы моя фантазия, исчезла решимость думать самостоятельно, писать о том, что я пережил сам.

В домике в долине жило пятеро детей. Одна из них, Лила, девочка пяти лет, — с недавних пор поселилась у нас. У нее были светлые волосы, заплетенные в две тоненькие косички, и живые голубые глаза, в которых неизменно светилось нетерпеливое ожидание большой радости. Лила бегала по траве босиком — она никогда не носила туфель и чулок, ходить босиком было для нее истинным удовольствием.

Когда я спросил, не больно ли ей ходить по колючкам и гравию, Лила решила показать мне свою выносливость и повела меня в ту часть выгона, где земля была усыпана гравием и трава изобиловала колючками. Лила бегала по траве, счастливо улыбаясь и ловя признаки восхищения на моем лице.

— Ну теперь я буду бегать так, что меня никто не догонит, — объявила она моей матери, когда та купила ей пару туфель.

Лиле ни к чему было так решительно демонстрировать свою выдержку и силу характера. Я полюбил ее и восхищался ею задолго до того, как она решила вызвать во мне эти чувства, бегая босиком, лазая по деревьям, гоняясь за курами, собирая яйца или распевая песенку: «Ах, не продавайте мамочкин портрет».

По утрам в кухне мать делала Лиле перевязку. Она освобождала от белых марлевых бинтов предплечье, шею, грудь и плечо и открывала мокнущие ожоги.

Отец Лилы Джим Джексон работал на ферме, владелец которой проживал в городе. Вставал Джим обычно в пять утра; до нас доносился его голос, когда он покрикивал на собаку, загоняя коров для дойки.

Зимние утра были темны и холодны, жена Джима растапливала плиту и готовила чай к возвращению мужа с выгона. Затем они вместе доили коров при свете фонаря, подвешенного к балке навеса и качавшегося от ветра из стороны в сторону.

Миссис Джексон была худенькая, болезненная женщина с большими темными глазами, печально глядевшими на мир. Она не выходила за пределы фермы, не бывала ни у кого в гостях и безропотно мирилась со своей скучной жизнью, тяжким трудом и бедностью.

Пятеро детей миссис Джексон — четыре девочки и мальчик — ходили в обносках, которые она штопала и латала по вечерам при свете дешевой керосиновой лампы, свисавшей с потолка кухни на двух цепочках.

Старшей ее дочери Салли было лет двенадцать. Пока отец с матерью доили коров во дворе, она вставала, зажигала свечу в детской, будила младших и шла на кухню готовить им завтрак.

Но часто со сна дети не могли найти свою одежду, бывало,

что боль в ознобленных суставах донимала их или они ссорились из-за того, кому вставать первым, и тогда Салли приходилось бежать из кухни, чтобы угомонить их.

И вот в одно такое утро Лила, прыгая на пружинном матрасе, опрокинула свечу, стоявшую на ящике у ее кроватки. Пламя лизнуло бумазейную рубашку Лилы, и она тотчас вспыхнула. Девочка с криком бросилась в кухню, Салли плеснула на нее водой из кружки, схватила на руки.

Девочка продолжала кричать, тогда Салли опустила сестренку на пол и кинулась во двор, за родителями. Через несколько минут Джим Джексон уже стучался к нам и звал мою мать. Когда случалась беда, первой, к кому бросались за помощью, была моя мать.

Неделю спустя, когда я вернулся из Уоллоби-крик, девочка уже поправлялась, но еще сильно страдала от боли, а мать лечила ее и ухаживала за ней. Лила к этому времени уже совсем освоилась с нашим домом, почувствовала себя членом нашей семьи и даже взяла на себя роль моего гида.

— Это твои, — говорила она, указывая на мои книги, — я знаю, только мне не позволяют их трогать.

— А тебе хочется трогать их?

— Нет, я только маленьких детей люблю трогать.

Лила была частым спутником в моих прогулках, она бежала за мной вприпрыжку, с завистью глядя на мои скачки.

— А здорово, наверно, на костылях ходить, счастливый ты, Алан!

Я вспомнил, с каким презрением относился Стрелок к моей хромоте, и задумался: а ведь, быть может, эта девчушка попала в точку. Есть лошади, которым необходим строгий мундштук: он направляет их, сдерживает. Без такого мундштука от них было бы мало толку.

Иногда, гуляя, мы подходили к дому Лилы. По субботам ее сестры были свободны от школы и, завидев нас, бросались нам навстречу, еще издали выкрикивая свои маленькие новости. Они были уверены, что их новости гораздо интереснее всех тех происшествий, которые могли выпасть на долю Лилы, поэтому она выслушивала их весьма холодно, и тут же сообщала свои собственные новости, не менее сенсационные.

— А нашу собаку сегодня утром вырвало, мама это первая увидела, кричала Салли с веранды, когда мы еще только входили в ворота.

— А у меня есть три пенни, — парировала Лила. Подобный обмен репликами был мне знаком еще по Уоллоби-крик.

— Да, брат, плохие времена, — говорил в баре один парень

другому. Всей-то работы у меня осталось на неделю.

— Меня не выгонят, — отвечал другой, — пока кролики плодятся, я сижу крепко.

Мне интересно было находить эту связь между поведением взрослых и детей. Нити переплетались, образуя пестрые узоры, а законченный рисунок был результатом общей работы. Сейчас руки детей работали над моим узором, и меня это радовало.

Салли была старшей из этой пятерки. За ней шли Сьюзэн — десяти лет, Нэлл — восьми, Лила — пяти и, наконец, трехлетний малыш Джим.

Джим не участвовал в наших экспедициях. Он висел на калитке, глядя нам вслед; печенье, которое у меня было всегда для него наготове, помогало ему удерживать слезы.

Салли была тоненькая девочка с выразительным личиком и нежной душой. Она чрезвычайно бурно реагировала на все, что делалось вокруг. Рассказы о жестоком обращении с животными приводили ее в отчаяние, ее возмущение бывало глубже, чем у сестер, радость более острой, грусть и страдание труднее переносимы. На Салли сильно действовала даже погода. Серые, промозглые дни приводили ее в уныние.

— Места себе не найду сегодня, — пожаловалась она мне как-то пасмурным утром.

Когда же светило солнце и пели птицы, она прыгала и плясала от радости.

Однажды, когда погода была чудесная и ярко зеленела трава, она сказала мне по секрету:

— В такие дни, как сегодня, мне кажется, будто в волосах у меня полно травинок. Будто я по лугу каталась.

Все влияло на настроение Салли, даже самые простые вещи. Сьюзэн рассказывала мне о старшей сестре:

— Салли тогда так веселилась потому, что мы увидели двух синих корольков.

Сама Сьюзэн была особой весьма практичной и мечтала, когда вырастет, стать «поломойкой». Она с большим рвением скребла полы в доме, но иногда вдруг прерывала свое занятие и, сидя на корточках с тряпкой в руках, задумывалась, глядя с улыбкой на свою работу. Сьюзэн была на редкость аккуратна — не было случая, чтобы она забыла отправить письмо, если ей это поручали, и всегда приносила домой от бакалейщика именно то, что требовалось. Школу она не любила, там было слишком много самонадеянных детей, свысока обращавшихся с ней, и, кроме того, она не знала, к чему приложить там руки.

Младшие, Нэлл и Лила, считались в доме певицами. Нэлл всегда сначала долго прочищала горло и откашливалась:

— Подождите, я приготовлю голос. Если же мотив, случалось, ускользал от нее во время пения, она останавливалась:

— Нет. Погодите. Я начну сначала. Лила же пела как птичка. Слова и мелодии девочка обычно сочиняла сама:

Я летящая птица,
Птица, не улетай.
Я высоко над деревьями.
Деревья, деревья, деревья!
А папа, — смотри, ведет корову,
Папа, папа, папа, папа!..

Во время прогулок наш путь обычно лежал через выгон, Лила бежала впереди, приплясывая; коровы провожали ее ленивыми взглядами: ее мелькающие ручонки отвлекали их от жвачки.

— Алан, смотри. Ты только посмотри! Я — маленькая птичка с коричневыми крылышками. Видишь, Алан? Посмотри на меня.

— А кем бы ты еще хотела быть? — спросил я, желая разделить ее веселье и потому ища образ, который был бы мне ближе, чем маленькая птичка с коричневыми крыльями.

— Я хотела бы быть феей.

— Ты не можешь стать феей, — заявила Сьюзэн. — Выбери что-нибудь попроще.

— Ну, тогда — коровой.

— Интересно, что чувствует корова, — задумчиво сказала Салли, глядя на корову, которую мы только что потревожили своим шумом, — только, наверно, они такие же, как люди, и каждая считает себя лучше всех других коров…

Прогулки с ребятишками Джексона были для меня своего рода школой, постепенно записи в моих блокнотах становились все более содержательными.

Мир, который открылся мне в гостинице в Уоллоби-крик, был населен людьми, живущими ненастоящей жизнью, пирующими на развалинах горящего Рима.

Длительное общение с этими людьми могло разрушить во мне веру в человека, в его способность подняться духом над людской пошлостью. И только близость с детьми которым открывался совсем иной, чудесный мир, где благородные поступки, радость и счастье были не просто возможны, но и обязательны, воскрешала во мне веру в будущее, которую я начал было терять из-за невозможности найти работу.

ГЛАВА 2

И вот наконец на одно из моих писем с предложением услуг пришел ответ. Отвечала фирма Смог и Берне, галантерейный магазин на Флиндерс-стрит. Фирме требовался младший клерк, хорошо знакомый с конторским делопроизводством. В объявлении указывалось, что заявления будут приниматься только от студентов Коммерческого колледжа, имеющих опыт в бухгалтерской работе.

Отец заметил, что такое объявление свидетельствует о скупости владельцев, подыскивающих на маленькое жалованье юнца, который выполнял бы работу взрослого. Отец недавно купил рессорную двуколку, под ее свежей окраской скрывалась шпаклевка, которой были замазаны трещины, — результат долгого пользования; в первые же дни после покупки шпаклевка начала кусками выпадать. Человек, продавший повозку, пожал при расставании отцу руку поступок, который отец рассматривал как верх вероломства. После этого случая отец стал считать всех городских торговцев мошенниками. Он советовал мне не очень-то доверять фирме, желающей, чтобы младший клерк управлялся в конторе один.

Меня приняла женщина лет пятидесяти, миссис Розалинда Смолпэк, владелица фирмы Смог и Берне. Впоследствии я узнал, что когда-то она была кухаркой мистера Бернса, богатого вдовца, потом его любовницей. Умирая, он оставил ей магазин — источник своего богатства.

Нос Розалинды Смолпэк напоминал клюв ястреба, да и глаза были столь же беспощадны, как у этой хищной птицы. Кожа на лице у нее была скверная, темная, к уголкам губ сбегались морщины, сшивая их в полоску.

Это мужеподобное существо было увешано драгоценностями. На пальцах сверкали кольца — свидетельство ее успеха в мире наживы, на запястьях красовались четыре браслета, в ушах — золотые серьги, на крепкой шее несколько нитей янтарных бус. Все в ней коробило и оскорбляло глаз, крикливо возвещая ее победный марш от кухонной раковины до кабинета владелицы предприятия.

Удивление, промелькнувшее в ее глазах при виде моих костылей, быстро сменилось выражением расчетливости, которое уже не покидало ее, пока она подсчитывала, какую выгоду можно извлечь из моего физического недостатка. Признаться, я никак не ожидал увидеть столь обнадеживающий признак.

«Она, кажется, собирается взять меня на службу», — подумал

я. Интересно почему? Ведь на вид она из тех, кто требует от своих служащих полной отдачи, а это значит, что ей нужен человек, быстро вбегающий в комнату по звонку, а не с трудом поднимающийся со стула калека. Миссис Смолпэк не стала терять времени на окольные разговоры, как поступило бы на ее месте большинство мужчин, она приняла решение сразу.

— Вы калека, — сказала она и добавила, окидывая меня оценивающим взглядом: — самый настоящий калека. Сколько вам лет?

— Двадцать.

— Вас никто не возьмет на работу в вашем положении и в вашем возрасте, но мне жаль вас. Я знаю, что никогда не найду равноценную замену тому работнику, который уходит с этой должности, но ничего не поделаешь. Я возьму вас на его место, но вы, конечно, не можете рассчитывать, что я буду платить вам жалованье, полагающееся нормальному здоровому человеку; как-никак я иду на известную жертву, поскольку качество работы в конторе, безусловно, понизится. Расторопный юноша ваших лет, насколько мне известно, получает по тарифу три фунта в неделю, я буду платить вам тридцать шиллингов.

Я заколебался, глядя в пол.

— Дело ваше. — Она отвернулась от меня.

— Хорошо, — сказал я. — Я согласен, но примете ли вы такое условие: если я проработаю год за эту плату и моя работа будет вас удовлетворять, станете ли вы платить мне полную тарифную ставку через год? Мне тогда исполнится двадцать один год.

— Да, — сказала она. — Конечно. Если вы будете хорошо работать у меня этот год за тридцать шиллингов в неделю и если я решу оставить вас у себя, я, конечно, буду платить вам полную тарифную ставку. Докажите, на что вы способны, а за мною уж дело не станет.

Теперь, когда сделка по покупке рабочей лошади была благополучно завершена, миссис Смолпэк отбросила неприязненный тон. Упряжь была крепкой, животное готово тащить груз.

— Вы сможете начать завтра? — Она улыбнулась.

— Да, — ответил я.

— Ровно в девять, — предупредила она. — Полчаса на обед, кончаете вы в пять.

Миссис Смолпэк поднялась со стула, она была высока ростом, широкая в кости, крепка, как погонщик волов.

— Все! — твердо, как команду, отрубила она.

Я подтянулся, встал и покорно пошел к дверям — я уже тащил груз.

Прежде чем вернуться в Уэрпун, я купил газету и просмотрел объявления о сдаче комнат внаем. Я выбрал адрес поближе к деловой части города: в восточной части Мельбурна предлагали комнату со столом «одинокому мужчине». Сел в трамвай и поехал прямо туда. Толстая женщина улыбнулась мне материнской улыбкой и показала маленькую отдельную комнатку, выходившую окнами на задний двор. Узнав, что каждую субботу я буду уезжать домой, она снизила плату до семнадцати шиллингов шести пенсов в неделю «с обедом, но без стирки». Я согласился и обещал переехать на следующий же день после работы.

Отец был не очень доволен работой, которую я получил, тем не менее, когда на следующее утро мы ехали с ним на вокзал, он высказал уверенность, что миссис Смолпэк станет платить мне полную ставку еще до конца года.

— Совесть не позволит ей поступить иначе, когда она увидит, как здорово ты справляешься с работой, — рассуждал он. — Ни одна женщина не пойдет на такую подлость.

Магазинчик миссис Смолпэк занимал часть здания, известного под названием «Дом Библии»: на нижних этапах дома продавались религиозные брошюры и библии. Товары, которыми торговали Смог и Берне, не требовали большого помещения, и магазин расположился на одном этаже — четвертом, самом верхнем. Полки по стенам центрального зала были заполнены картонными коробками с пряжками, бусами, сетками для волос, нитками простыми и шелковыми, бигуди, гребнями и щетками — всевозможными украшениями и предметами женского туалета.

Свободное пространство было беспорядочно заставлено столами, на них лежали вороха лент и кружев, вышитые салфетки и скатерти, льняные передники и куски материи с узорами для вышивания, изображающими испанских танцовщиц с тамбуринами, украшенными пучком лент, охотников, трубящих в рог, лошадей, берущих барьеры.

Со временем каждый такой кусок материи окажется в руках какой-нибудь одинокой женщины или девушки на выданье, и она искусными пальцами превратит узор в вышивку, которую затем будет долго и бережно хранить и с гордостью показывать гостям за чаем.

Покупатели обходили магазин в сопровождении мисс Брайс, если им нужны были рисунки для вышивания, миссис Фрезер, если они интересовались бусами и другими украшениями, и мистера Робинса, если их привлекали вещи, лежащие на верхних полках.

Директор магазина, мистер Осберт Слейд, вежливо пожимал

руку клиентке, приветствуя ее словами: «Кого я вижу! Ну, как поживаете? А мы уж думали, вы нас совсем забыли», — и затем поручал покупательницу заботам одного из трех продавцов.

Мистер Слейд был маленький толстый человечек; у него были усы неопределенного цвета, с изжеванными кончиками, и он носил очки, сквозь которые, должно быть, видел хорошо, только когда откидывал голову. Во всяком случае, он всегда ее откидывал, когда на кого-нибудь смотрел. В обществе покупателей мистер Слейд часто потирал руки, но никогда не делал этого, оставшись в одиночестве.

Когда ему казалось, что никто на него не смотрит, он неуверенно оглядывался по сторонам, не зная, что же, собственно, делать дальше. Мистер Слейд не без опаски стал поверять мне свои мысли. Это были мысли обиженного человека; он отваживался даже критиковать миссис Смолпэк, но, отважившись, тотчас же раскаивался в своей смелости. Раскаяние делало его раздражительным, он начинал быстро ходить взад и вперед, стремясь избавиться от неприятного воспоминания о своей неосторожности. Сама миссис Смолпэк в магазине показывалась редко Она занималась благотворительными делами в компаний тех самых дам общества, для которых в свое время готовила угощение, когда покойный ее хозяин устраивал приемы.

— Но чем меньше вспоминать об этом, тем лучше, — предупреждал меня мистер Слейд и отправлялся кружить по магазину.

Имя миссис Смолпэк часто упоминалось в хронике светской жизни: «Присутствовала, как обычно, и миссис Смолпэк, всегда готовая протянуть руку помощи нуждающимся».

— Она предпочитает тратить время, но не деньги, — замечал в этих случаях мистер Слейд и, покраснев, спешил прочь.

— Миссис Смолпэк много делает для больниц и для инвалидов, — сообщал мистер Слейд громко, уже не оглядываясь и стоя на месте. — Уж кто-кто, а она понимает трудность вашего положения…

Я восседал на высоком табурете за конторкой, отгороженный от магазина невысокой перегородкой. Посматривая поверх нее, я видел покупателей и мисс Брайс и миссис Фрезер, хлопотавших вокруг них.

Мисс Брайс работала в фирме Смог и Берне недавно, это была женщина лет пятидесяти, с пушистыми седыми волосами и милой улыбкой, — маленькая, изящная, всегда одетая в черное. Держалась она с покупателями почтительно, но с достоинством, и покупатели хотя и имели право рассчитывать на услужливость продавщиц, тепло откликались на ее дружелюбие. Это умение

держать себя мисс Брайс приобрела за годы работы в фешенебельном магазине «Робертсон и Моффат», который перешел недавно в руки Майер Эмпориум крупнейшему торговому предприятию Мельбурна.

Перейдя к Майер Эмпориум, магазин быстро потерял свой блеск, отделы, куда допускались раньше только избранные, широко открылись перед мельбурнскими охотниками до дешевых распродаж, которые в первые дни «рыскали по магазину, как стая волков», по меткому замечанию мисс Брайс, работавшей там в то время.

Мисс Брайс была «просто в ужасе» от развязного, недопустимого для воспитанных людей поведения этих охотников до дешевки — «сброда», как она выражалась. По ее словам, женщины, которых она обслуживала у «Робертсона и Моффата», все без исключения принадлежали к «хорошему обществу».

Я спросил, что она понимает под этим термином, и мисс Брайс, не задумываясь, ответила:

— Это нельзя определить, мистер Маршалл. Это надо чувствовать.

Она была первым человеком, который назвал меня «мистером». Я принял этот титул с некоторой долей смущения, однако мне было приятно, что, по мнению мисс Брайс, я имею на него право, так же как и все другие ее знакомые мужчины. Мне казалось, еще немного — и я буду как все, и, может быть поэтому мисс Брайс мне нравилась.

Мы иногда разговаривали через перегородку; ее больше всего интересовала жизнь светских дам, которых она видела в магазине «Робертсона и Моффата». Мисс Брайс никогда не позволяла себе порицать их. Если у нее и вырывалось иной раз критическое замечание по адресу какой-либо из этих дам, виной тому была — я уверен — личная обида.

— Невозможная женщина, — пожаловалась мне однажды мисс Брайс, говоря о ком-то из них, — ей нельзя было угодить, она очень резка с людьми ниже ее по положению.

Мисс Брайс с грустью сознавала, что сама она принадлежит к людям «скромного положения», но отнюдь не по рождению, а по бедности.

— Мой отец был полковником британской армии, мать родом из богатой шотландской семьи, — рассказывала мне мисс Брайс. — Но потом нас постигло несчастье. Отец был человеком непрактичным и неосмотрительно распоряжался деньгами. Друзья, которым он помогал в свои счастливые дни, отвернулись от него, когда он сам стал нуждаться в их помощи. Такова жизнь, и ничего тут не поделаешь. По сути дела, единственный друг

человека — деньги. Только с годами начинаешь понимать это, хотя должна сказать, что сама я приобрела за свою жизнь немало, хороших бескорыстных друзей.

Мисс Брайс снимала комнату в районе Южной Ярры, («в Южной Ярре публика чище») и оттуда наносила визиты друзьям в определенной последовательности, словно полковник, проводящий смотр войскам в соответствии с установленным порядком.

— По четвергам я пью чай у мистера и миссис Стаффорд. По субботам во второй половине дня навещаю миссис Лоуренс и остаюсь присмотреть за детьми, если она уезжает вечером в гости. Раз в две недели по понедельникам я играю в бридж у миссис Конуэй. Да, я поистине живу полной жизнью, мистер Маршалл.

Вторая продавщица магазина, миссис Фрезер, принадлежала к обществу похуже. Это была худенькая сутулая женщина, лет двадцати шести, она часто стояла съежившись, прижав руки к тощей груди, и жаловалась на холод.

Робкая улыбка быстро исчезала с ее лица, не встретив ответной улыбки. Два года назад она вышла замуж за мастера обувной фабрики; они снимали скромную комнатку в Карлтоне и копили деньги, чтобы купить дом в рассрочку.

— Все, о чем мы мечтаем, — это собственный домик с ванной.

Существование миссис Фрезер отравляла ненавидевшая ее свекровь. Эта женщина была до глубины души возмущена женитьбой сына, на которого возлагала все свои надежды. Если бы надежды эти осуществились, ей были бы обеспечены уважение окружающих, комфорт и безоблачная старость. Для достижения этой цели она требовала от сына всего лишь послушания и полного самопожертвования.

По субботам миссис Фрезер сопровождала мужа к его матери. Она молча и покорно сидела за обеденным столом, боясь проронить слово, которое привлекло бы к ней неумолимый взгляд свекрови.

Но за обедом свекровь обыкновенно была весела и оживлена. Она ласково болтала с сыном, искусно переводя разговор на темы, близкие только им двоим, — передавала новости о девушках, которым когда-то нравился ее сын, вспоминала какие-то случаи из их прежней жизни. Можно было подумать, что любящие мать и сын совершенно ушли в воспоминания о былых счастливых днях.

Пока они так беседовали, миссис Фрезер сидела низко склонившись над тарелкой и молча страдала. Но больше всего

она боялась минуты, когда они со свекровью отправлялись мыть посуду на кухню. На кухне, где сын не мог ее услышать, голос свекрови сразу менялся, он становился чуть саркастическим или же в нем звучала едва сдерживаемая злоба.

— Что с тобой происходит, голубушка? Ты ужасно постарела. Том выглядит мальчиком рядом с тобой. Советую подтянуться, если хочешь его удержать.

Иногда атака свекрови шла с другого фланга:

— Надеюсь, ты не станешь обузой для моего сына. Какие блестящие способности у него были — он далеко пошел бы, если бы не женитьба.

Миссис Фрезер рассказывала мне все это, стоя внизу, подняв на меня глаза, я слушал, перегнувшись через перегородку.

— Я бы не обращала внимания, если бы Том понимал и жалел меня. А он считает мать замечательной женщиной, говорит, что никогда не слышал от нее плохого слова обо мне. Он просто не верит моим рассказам, говорит, что я неправильно толкую слова его матери. Теперь я уже ничего ему не рассказываю, стоит мне открыть рот, как он начинает злиться.

Я целиком проникся интересами мисс Брайс и миссис Фрезер. Они то и дело добавляли новые главы к своей повести. Я с головой ушел в их дела, их горе стало моим, собственные заботы отодвинулись на второй план. Я расстраивался, думая о вероломстве свекрови, сердился на миссис Лоуренс за то, что она постоянно уходит по субботам и оставляет мисс Брайс присматривать за детьми.

Мне не терпелось узнать, что еще произошло в жизни той и другой.

— Ну, как провели воскресенье? — спрашивал я их в понедельник утром, когда выпадал случай поболтать несколько минут.

Можно сказать, что в этот период я жил их жизнью, размышлял и делал свои выводы и мысленно пытался решать за них проблемы, которые сами они решить были не в состоянии. Мне представлялось, что их жизнь чем-то похожа на мою, что судьбы их складывались под влиянием тех же условий, что судьбы Шепа и Стрелка, только жизненные удары, которые на них обрушивались, были не столь сокрушительны.

Я запутался в теориях, долженствующих указать выход Шепу и миссис Фрезер, Стрелку и мисс Брайс. В смятении я исписывал свои записные книжки выспренними фразами, которые хотя и разоблачали ужасы жизни и требовали перемен, и взмывали к звездам, тем не менее оставляли неясным, что именно в них разоблачалось и что требовалось.

Перерыв на обед давал мне краткую передышку, я торопливо проглатывал свои бутерброды и выходил на улицу. Обычно я останавливался на углу Суонстон-стрит и Флиндерс-лейн и, прислонившись спиной к стене дома, наблюдал за прохожими. И хотя никто не обращал на меня внимания, за исключением какого-нибудь случайного зеваки, решившего подпереть ненадолго стену рядом со мной, я чувствовал себя частицей этой толпы.

Жить жизнью города, знать, что ты не нищий, который просит милостыню на темных улицах, но человек, вносящий свою долю в его ритм и движение, — какое это было восхитительное чувство! Теперь я шел вперед, в строю людей, которые с высоко поднятой головой устремляются к заветной цели — к лучшей жизни.

Стоя на своем углу, я наблюдал множество людей; каждый был занят какими-то своими мыслями и неотложными заботами, но здесь, в этом огромном потоке людей с общими стремлениями, цели и мечты их, казалось, сливались в одно гармоничное целое, в чудесную мелодию, которая звучала над городом и возносилась к самому солнцу.

Теперь, когда я работал и мое существование было оправдано крохотным вкладом в общие усилия людей, я считал себя вправе развивать и свой небольшой голос, пока он не станет слышен в общем гуле. А до тех пор — думал я — я должен незамеченный двигаться с толпой, должен ждать, пока буду принят ею.

Как замечательно ходят человеческие существа! Как много хорошего заложено в их улыбках, в их смехе! Я следил за девушками, которые шли, нежно прижавшись к своим любимым, наблюдал за выражением их лиц, таивших любовь и душевный подъем, неуверенность и сомнение.

Мужчины вскакивали на ходу в громыхающие трамваи. Руки их тянулись к поручням, хватались за них и напряженно вытягивались. Они прыгали с идущих трамваев и, откинувшись назад, пробегали небольшое расстояние, постепенно замедляя шаг. Мне чудилось на их лицах сознание своей силы и гордость этой силой.

Мимо проезжали телеги, груженные землей со строительных площадок, они двигались медленно, лошади шагали осторожно, сдерживая свою силу, боясь поскользнуться на скользкой мостовой.

Форды фыркали у переходов в ожидании сигнала регулировщика. Повинуясь взмаху его руки, они рывком снимались с места, и люди отскакивали в сторону, трамваи звенели, а шоферы с суровыми лицами отчаянно нажимали на тормоза, переключали скорость. Все эти звуки сливались в общий

гул, сквозь который прорывались крики газетчиков, и я слушал музыку улицы как зачарованный.

Потом я возвращался в контору, к своим кассовым книгам, гроссбухам и бесчисленным квитанциям. Впечатления и мысли, тесня друг друга, роились в моей голове, но кнут дисциплины делал свое дело: все вдруг становилось на место, внимание сосредоточивалось на понятной и ясной накладной:

«1 дюжина салфеток по 6 пенсов 6 шиллингов».

Я старательно записывал эти сведения куда следовало и снова обращался к толстой пачке квитанций:

«2 дюжины пакетов бисера по 1 шиллингу за пакет 1 фунт 4 шиллинга 0 пенсов».

Жизнь клерка, думал я, — тяжелое бремя; те, кто несет его, лишаются гордости, чувства собственного достоинства, радости творчества. И, наконец, разве по самому роду своей работы клерк может не быть подобострастным?

Сидя за своей конторкой, я часто думал о том, что это отвратительное качество развивается и во мне, я боялся, что оно отнимет у меня силу сопротивления, погубит все, что есть во мне хорошего, и швырнет когда-нибудь под ноги людям властным, эгоистичным, честолюбивым.

Я часто задумывался, почему я так боюсь миссис Смолпэк, почему, когда, слушая доклад мистера Слейда во время своих редких посещений конторы, она взглядывала на меня, я делал вид, что погружен в работу, и писал не отрываясь, даже не поднимая головы.

Все мое будущее зависело от места в конторе. Конечно же, я не всегда буду клерком, но эта работа все-таки важный шаг к лучшему будущему. Как-никак я двинулся вперед, преодолел апатию, уже раз испытанную мною и, словно живое существо, только и ждавшую, как бы снова завладеть мною.

Потеряв работу, я оказался бы на иждивении отца, которому и без того было трудно сводить концы с концами. Утрата места была бы для меня страшным несчастьем, а чем значительнее утрата, тем сильнее боишься ее.

Я сознавал, что тысячи людей могли выполнить работу, которую я делал; она не требовала ни особых знаний, ни предприимчивости.

Ведь значение всякой работы не в том, какую пользу приносит она хозяину, а в том, насколько она необходима работнику. Следовательно, я считал свою работу чрезвычайно важной, чтобы сохранить ее, проявлял лицемерное рвение, всякий раз как миссис Смолпэк бросала на меня взгляд, и с тягостным смирением отвечал на ее вопросы.

В ее руках находилась судьба книг, которые я задумал написать, и я покорялся и терпеливо сносил свое унизительное положение.

ГЛАВА 3

Каждую субботу после обеда я уезжал в Уэрпун. На станции меня встречал отец на своей двуколке, и ночь на воскресенье я проводил дома. Эти поездки домой позволяли мне «выпустить пары», пополнить свои запасы решимости и вновь проникнуться верой в свои силы.

Иногда я заставал дома всех моих четырех сестер; мы разговаривали о том, что нас волнует, и наши мысли казались нам убедительными и правдивыми. Когда мы достигали согласия, приходя разными путями к одинаковым выводам, у нас появлялось сознание неразрывной связи со всеми людьми. Наше единомыслие заставляло думать, что и за пределами нашего дома у нас есть немало единомышленников, и это придавало нам силу.

«У всех моих детей ссадины от слишком тугой подпруги», — сказал как-то отец, наслушавшись наших сетований на себялюбие и жадность людей, поглощенных заботами о материальном благополучии.

Мне запомнились и его слова о том, что теперь, когда мы сами взяли вожжи в руки, он чувствует себя как лошадь гуртовщика, привязанная к задку повозки. Но мысли, которые мы высказывали, ему нравились. Как-то, соглашаясь со мной, он сказал: «Чего ты хочешь, — все мы вздрагиваем, когда кто-то при нас щелкнет бичом».

Мы были семьей бунтарей, хотя часто лишь смутно понимали, против чего, собственно, мы восстаем. Мне кажется, это был подспудный протест против жизненных обстоятельств, лишивших нас возможности развивать свои способности, обрести цель, которая придавала бы смысл нашей жизни. Мы чувствовали, что не способны в полной мере понять великие произведения музыки, живописи, литературы; ведь в убогой школе, которую мы посещали, никто не заложил в нас основ такого понимания.

Детские годы — пора, когда наряду с другими вещами мы должны были учиться познавать культуру, — научили нас лишь молиться богу, чтобы он помог нам в трудный час, и петь хором, повинуясь дирижерской палочке восторженной учительницы:

Трудитесь, мальчики, и презирайте лень,
И пропитанье вы найдете каждый день,
Ведь все люди, несомненно,
Богатеют постепенно,
Если поработать им не лень…

И вот теперь, все еще оставаясь детьми в своем понимании мира прекрасного, мы стремились стать в один ряд с людьми развитыми и образованными, которые с благоговением и глубоким пониманием относились к великим произведениям искусства.

Большое влияние на меня оказывала Мэри. Она была замужем и жила в одном из пригородов Мельбурна. В юности она увлекалась множеством вещей, но я по молодости лет не всегда мог разделять ее увлечения. В ту пору она была чуткой, восприимчивой девушкой, любила музыку и стихи и время от времени загоралась решимостью избавить бедный люд от страданий и рабства и открыть ему путь к счастью.

У нас был один знакомый — страдающий артритом в тяжелой форме. Он проводил жизнь в кресле для инвалидов, и его доставлял к нашему дому отец или кто-нибудь из школьников, радовавшийся случаю заработать шестипенсовик. Это был натуралист Фрэнк Рэдклиф; в газете «Австралиец» он вел раздел «Заметки о природе», подписываясь «Ф. Р.».

Страдания не ожесточили его, а людская враждебность не сломила бодрости духа, ясно светившегося в его спокойном, чуть насмешливом, понимающем взгляде. Между тем ему пришлось больше чем кому-либо испытать неприязнь окружающих. Он был атеистом, а сам жил среди людей, которые при этом слове испытывали страх и отвращение — как при виде змеи. Но он не таил обиды на своих гонителей — ведь это не он, а они нуждались в сострадании и помощи.

Слушая скрипку или пианино, он скрюченной рукой отбивал такт по колену, старинные английские баллады приводили его в восторг.

Узнав, что хор нашей маленькой пресвитерианской церкви собирается петь отрывки из «Мессии» или что органист готовится исполнить одну из его любимых ораторий, — Рэдклиф упрашивал отвезти его в церковь, где кресло устанавливали перед самой кафедрой проповедника. Здесь под пристальными, недобрыми взглядами молящихся он слушал пение и орган, закрыв глаза и подняв голову, весь подавшись вперед, захваченный красотой музыки.

Он сотрудничал в сиднейском «Бюллетене» и в английских журналах «Поле» и «Сельская жизнь». В историях, рассказанных ему моим отцом, он черпал темы для своих новелл, перевоплощаясь в зависимости от сюжета отцовского повествования то в гуртовщика, то в полевого объездчика, а то и в бродячего торговца.

Это был единственный, встреченный мной в детстве, человек,

который говорил с уважением и пониманием о живописи, литературе и музыке. Я часто сидел у его ног, ухватившись за мех кенгуру, укутывавший его больные ноги, а он рассказывал мне «Сказки дядюшки Римуса» — про «Мальчика, вымазанного дегтем», про «Братца кролика, отправившегося ловить рыбу» и сказки «Мисс Медоус и ее девочек».

Именно здесь, сидя у ног Фрэнка Рэдклифа, я испытал впервые желание писать. Фрэнк понимал, что Мэри обладает хорошим литературным вкусом, и всегда дарил ей книги к рождеству и ко дню рождения, так что она составила небольшую библиотечку, в которую вошли томики стихов великих английских поэтов, сочинения Джордж Элиот, Гоголя и Диккенса.

Впоследствии Фрэнк Рэдклиф оставил наши места. Через несколько лет, всеми покинутый, одинокий, он решил добраться до Мельбурна, находившегося в ста тридцати километрах, чтобы отыскать хоть кого-то из оставшихся друзей. Он заказал специальную низкую тележку, на которую установили его кресло, заплатил человеку, подсадившему его, и отправился в путь. Рэдклиф держал вожжи в руках, но управлять лошадью не мог. Через несколько дней его нашли на пустынной тропе в стороне от шоссе. Лошадь мирно щипала траву, Фрэнк сидел в совершенном изнеможении в своем кресле и медленно умирал.

Его поместили в одну из мельбурнских больниц; мой отец, извещенный о случившемся несчастье, до последней минуты сидел у его кровати в глубоком молчании; он принял его последнюю улыбку, его последний взгляд, полный понимания и любви. Рэдклиф был благородный и добрый человек.

После того как Рэдклиф уехал из наших краев, Мэри стала делиться своими мечтами со мной. Еще мальчиком я часто подолгу простаивал с ней у калитки нашего дома, глядя на луну, и это почему-то всегда рождало у нас желание декламировать стихи или тихонько напевать какую-нибудь песенку, чтобы отдать дань окружающей нас красоте. Мы наперебой говорили о своих мечтах и планах. Она была уверена, что когда-нибудь я стану писателем, я тоже был уверен в этом.

И вот я решил, что время настало. У меня была работа, обстоятельство, как мне казалось, крайне важное для того, чтобы заняться литературой. Субботу и воскресенье я всегда проводил дома, в обстановке, где не было места скуке. Все мои сестры работали; своими впечатлениями они охотно делились со мной. Джейн выучилась на медсестру и проходила практику в сельской больнице, работая нередко по пятнадцати часов в сутки; первый год она получала два с половиной шиллинга в неделю, второй — пять шиллингов и теперь — на третьем — семь с половиной. Хотя

медицина была для нее всем, она прекрасно понимала, что в этом деле она играла лишь самую скромную роль. Джейн была надежной опорой нашей семьи, и когда кому-нибудь из нас случалось заболеть, то исцеления мы ждали прежде всего от нее, веря, что уж она-то вырвет нас из когтей смерти.

Алиса была обручена с владельцем молочной фермы и уже начинала интересоваться коровами. У нее была хорошая работа в магазине, и она единственная из всей семьи чувствовала уверенность в завтрашнем дне. Ее часто приглашали в гости. Ее интересовали все, с кем она сталкивалась.

Энн, младшая в нашем роду, постоянно меняла место работы. Глубоко убежденная в том, что недостаток образования — источник всех наших семейных бед, она много и жадно читала и, подобно мне, любила поговорить. Худощавая, с крупным носом, она походила внешностью на отца.

Наша мать, твердая и решительная женщина, непрестанно вела с нами борьбу, стремясь защитить от наших посягательств свои старые ценности. С беспокойством смотрела она, как мы снимаем со стенки портреты ее родных и друзей и заменяем их гравюрами; мысль, что дядюшку Уилли изгоняют в прачечную, была ей неприятна.

Она медленно и неохотно воспринимала новые идеи, уступая лишь натиску всей семьи; ее протесты заглушались громкими голосами тех самых детей, которых она когда-то баюкала на руках и чьи слезы утирала, когда им было больно.

Помню, как отец стоял на задней веранде и спокойно разглядывал фотографию, которую кто-то из нас сунул ему в руки; на снимке были запечатлены он сам и его робкая невеста. С задней веранды был ход в прачечную, но отец повернулся и пошел в спальню, там он повесил фотографию на стенку рядом с изображением скачущих лошадей, испугавшихся грозы. Он не протестовал против перемен, но они огорчали его.

Мне казалось, что я живу полной жизнью. Я был убежден, что мои заметки не только объективны по содержанию, но и свидетельствуют о глубоком проникновении в души людей. Однако стоило мне взяться за перо, я начинал чувствовать себя пустым, — как сума нищего. У меня не было ни запаса мыслей, ни опыта, из которого я мог бы черпать, и я приходил к выводу, что из этих заметок и набросков у меня никогда ничего не получится.

С нетерпением и горечью я обнаружил вскоре, что мне недостает не столько опыта — хотя и он был невелик, — сколько умения увязать этот опыт с неустанной борьбой, которую вело все человечество. Мои трудности были сугубо личными и имели

значение исключительно для меня, мне не хватало той зрелости видения, которая помогла бы мне связать пережитое мною с тем, что происходит во всем мире. Однако такая зрелость появляется только с годами. Прежде чем писать, надо было жить.

Романы — думалось мне — должны основываться на личных переживаниях писателя, замаскированных и рассказанных как нечто пережитое вымышленными персонажами. С помощью одного воображения невозможно обосновывать и направлять поступки этих персонажей, если сам писатель не обладает глубоким роднимом жизненного опыта, из которого может черпать в помощь фантазии.

Я сел писать свой первый рассказ, несколько смущенный выводами, к которым пришел, но подбадривая себя тем, что сюжет взят целиком из жизни. Рассказ назывался «Победа Сноу» и повествовал о Стрелке Гаррисе и о жизни в гостинице в Уоллоби-крик. Я отослал рассказ в «Бюллетень» и стал ждать славы. И она пришла месяц спустя, когда в разделе «ответы авторам» я прочитал: «Вы пишете о месте, куда преуспевающие бизнесмены приезжают каждый раз с новой женой, но опускаете самое существенное: адрес этого райского уголка».

ГЛАВА 4

В воскресенье вечером я возвращался к себе в восточную часть Мельбурна. Я сходил с поезда в Джолимонте и шел пешком, хотя меблированные комнаты, где я жил, находились довольно далеко от вокзала. Я нес с собой чемоданчик с чистым бельем и своими бумагами. Чемоданчик был тяжелым, и нести мне его было нелегко.

Я испробовал разные способы носки: подвешивал чемоданчик на бечевке к верхней перекладине костыля, привязывал его за спину на манер рюкзака, сжимал его ручку вместе с нижней перекладиной костыля; однако самым простым и наименее утомительным оказался следующий: я брал ручку чемодана в рот, и, таким образом, всю тяжесть ноши принимала на себя моя нижняя челюсть.

С вокзала я всегда шел в темноте — прохожие встречались редко. Завидев кого-нибудь на дороге, я ставил чемоданчик на землю и пережидал, пока он или она пройдет. Это избавляло меня от недоуменных взоров, от взглядов, кинутых через плечо, что по молодости лет возмущало и обижало меня.

Я чувствовал себя в роли охотничьей собаки, несущей в зубах газету, и нередко забавлялся, доводя в воображении эту ситуацию до комической развязки. Меня подмывало пройти мимо встречного с чемоданчиком в зубах, затем внезапно бросить его наземь и залаять по-собачьи или же, повизгивая, присесть на «задние лапы», словно выпрашивая подачку.

Интересно, есть ли во всем мире человек, — размышлял я, — который, увидев такое зрелище, включился бы в игру и любезно сказал: «Идем со мной, собачка, я угощу тебя косточкой». Встреча с таким человеком меня искренне порадовала бы.

Жизнь в городе помогла мне изведать чувство крайней усталости, хорошо знакомое каждому калеке, которому приходится передвигаться по улицам, проталкиваться в толпе, садиться в трамваи и поезда. Мало-помалу я научился воспринимать эти тяготы как нечто неизбежное, как часть своей жизни и вскоре постиг искусство пользоваться любой возможностью для отдыха: прислонившись к стене, или ухватившись за перила, или оперев обо что-то костыль так, чтобы руке на какую-то секунду стало легче.

Такие паузы я делал бессознательно, и пока мое тело автоматически использовало любую передышку, я продолжал без помех думать о своем. Таким образом, возвращаясь воскресным вечером в свои меблированные комнаты, я то и дело

останавливался, схватившись за забор, опершись о перила, короче говоря, вел себя так, что легко мог сойти за ненормального.

Меблированные комнаты по воскресеньям звенели песнями и музыкой. Это был обыкновенный пансион средней руки, в каком селятся люди, уверенные, в отличие от бездомных бродяг, что у них всегда будет крыша над головой. Но там царила своя особая атмосфера.

Квартиранты здесь развлекались в часы отдыха пением пли играли на музыкальных инструментах, видимо продолжая традицию кого-то из старых жильцов, сумевшего привлечь в компанию людей себе под стать — с музыкальными способностями.

Обстановка была уютная, домашняя; здесь не пахло жареной колбасой, газом, нафталином, затхлостью и лежалым бельем. Из гостиной и из кухни доносился шум, свидетельствующий о том, что люди тут не сидят сложа руки; к жильцам часто приходили гости, все время кто-нибудь играл на пианино.

Никогда еще я не встречал людей, похожих на наших жильцов, и чувствовал себя среди них как воробышек, попавший в клетку к канарейкам. Их правила поведения заметно отличались от тех, которые были приняты в нашей семье или среди обитателей Уоллоби-крик.

Квартиранты никогда не говорили между собой о своей работе. Чем скрытнее на этот счет был жилец, тем больше его уважали. Размер заработка хранился в глубокой тайне, раскрытие которой уменьшило бы престиж этих людей и обрекло их на снисходительное отношение со стороны тех, кто зарабатывал больше. Они всеми способами старались создать впечатление, будто получают солидное жалованье и занимают ответственные посты.

Друг к другу они относились сдержанно, не допуская никакой восторженности, избегая похвал. Тем не менее они считали, что между ними царит дружба. Мне казалось, что они вынуждены скрывать друг от друга свои жизненные обстоятельства, потому что каждый из них как-то угрожает благополучию другого. Все были убеждены, что располагают втайне сведениями, которые, узнай их кто-либо другой, могут помочь тому сделать карьеру и занять более высокое положение в обществе. А секреты успеха не должны разглашаться.

Казалось, что все они слеплены по одному и тому же образцу, при этом все были разные.

Миссис Бэрдсворт, хозяйка пансиона, была от природы добра и даже сентиментальна, но эти свойства непрерывно сталкивались с практической сметкой — качеством, необходимым

для содержательницы меблированных комнат. Порой одерживала верх одна сторона характера, порой другая.

Эта уже пожилая женщина была замужем за очень ленивым человеком. Она содержала его на доходы от пансиона, а он только и знал, что слонялся по кухне, делая вид, что чем-то занят, всем мешал и раздражал ее. Она презрительно называла его «старый Берт». У него были плохо подогнанные искусственные челюсти, которые постоянно щелкали, когда он говорил, он носил очки с толстыми линзами и при их помощи изучал результаты скачек, печатавшиеся в «Геральде».

Миссис Бэрдсворт превосходно готовила и проявляла живой интерес к своим жильцам. Она гордилась их талантами, считая, что они придают ее заведению известный блеск, и когда жильцы сходились к обеду, она, приветливо улыбаясь, говорила: «А у меня для вас приготовлено сегодня что-то вкусненькое».

У одного из квартирантов — Стюарта Моллисона — был хороший тенор, и в свободное время он выступал на разных концертах. В пансионе же он пел просто ради удовольствия. При встрече с нами в коридоре он иногда разражался арией, не забывая принять позу оперного артиста. Он обязательно исполнял какой-нибудь куплет, когда мы садились завтракать, а по вечерам пел нам под аккомпанемент своей жены-пианистки. Он был весел, всегда улыбался и относился к своему голосу как к доброму другу, с которым не хотел бы расстаться ни за что на свете.

Миссис Моллисон обычно только аккомпанировала мужу и никогда не играла для нашего развлечения, но вот Мэми Фультон занималась музыкой «всерьез», и при некоторой настойчивости ее можно было уговорить «исполнить» на пианино ту или иную музыкальную пьесу. При этом она всегда заранее извинялась за плохую игру, ссылаясь на то, что еще недостаточно разучила вещь, или на то, что она не в настроении. Затем она чаще всего называла один этюд Шопена. Я как-то сказал ей, что это произведение выражает в музыке то, что я хотел бы выразить словами, и она часто играла его. Вещь посвящалась мне.

За столом Мэми сидела рядом со мной и неизменно одаряла меня двумя улыбками — одной, когда садилась за стол, и другой, когда вставала из-за стола. Ей было лет двадцать с чем-то, она была излишне полна, с кудрявыми темными волосами, с застенчивыми глазами. Платья никогда не сидели на ней хорошо. Одежда и обувь были всегда ей малы — покупая, она обычно называла размер номером меньше, чтобы показаться изящнее, чем была на самом деле.

Она была бы вполне счастлива, если бы не заботы о своей внешности, отравлявшие ей жизнь. В гостиной она выбирала

кресло с высокими подлокотниками, которые скрывали бы ее полноту. Предпочитала темные уголки и делала все, чтобы не привлекать к себе внимания.

Малейший намек на полноту заставлял ее мучительно краснеть. Временами она переходила на специальную диету и в эти дни съедала за обедом лишь немного мяса и овощей; затем следовала минута болезненной нерешительности, после чего она украдкой брала с блюда кусок сладкого пирога и поспешно с ним расправлялась.

— Да, Алан, вам не так-то легко будет добиться успеха, — заметила она как-то вечером, когда я признался ей, что деньги интересуют меня очень мало.

Ей не нравился мистер Бурмейстер — швейцарец по рождению и скрипач. У него были седые усы, он был хорош собой и с восторгом отзывался о прекрасных фигурах австралийских девушек. Зато ей нравился мистер Гулливер, — он тоже «всерьез» играл на пианино. Женщины его не интересовали. «Моя единственная страсть — музыка», — сказал он как-то, обмениваясь понимающим взглядом с Мэми.

Чем занимается мистер Гулливер, я не знал. Это был мужчина маленького роста, с черными усиками и рассеянным видом. Он щеголял в ботинках, начищенных до блеска, и носил портфель; каждое утро в пять минут девятого он выходил из пансиона. Возвращался он в шесть часов вечера, умывался, садился за пианино и играл до обеда, который обычно подавался в половине седьмого. После обеда, если пианино было свободно, он снова садился за него. Заметив, что его слушают с удовольствием, он мог играть весь вечер напролет. «Вот тут очень трудное место, его надо играть, перекрестив руки», — сказал он мне как-то вечером, внимательно вглядываясь в стоявшие перед ним на пюпитре ноты прелюдии Рахманинова.

Играя Рахманинова, он неотрывно смотрел на свои руки, Шопена исполнял, приоткрыв рот и вперив взгляд в засиженный мухами карниз. Играя Бетховена, он не отрывал сурового напряженного взгляда от клавиатуры, губы его были плотно сжаты, время от времени он вскидывал голову. Взяв последний аккорд, он ронял руки на колени и замирал на мгновение, после чего поворачивался к нам, моргал и несколько раз встряхивал головой, словно приходя в себя после обморока.

— Величие этой музыки заставляет меня забыть обо всем на свете, объяснял он нам.

Я спрашивал себя: на самом ли деле он так любит музыку или всего лишь самого себя за пианино. Иногда мне казалось, что музыка уносит его на золотых крыльях в царство мечты, где его

приветствуют толпы людей, где мужчины кричат «браво», а красивые женщины не сводят с него восхищенных взоров.

Причастность к прекрасному миру музыки рождала в нем чувство превосходства. Он мнил себя выше тех, кто не понимал и не ценил музыки, и поскольку большинство людей не получает музыкального образования, он шагал по жизни, любуясь и восхищаясь собой. Он старался приобщить и других к пониманию музыки, но, делая это, не делился своими познаниями, а милостиво приносил их в дар.

Даже когда играла Мэми, он считал себя обязанным, по окончании, разъяснять погруженным в молчание слушателям, что это произведение представляло собой шаг вперед в творчестве Бетховена, Баха или Шопена и что ему — мистеру Гулливеру — потребовались три месяца, чтобы овладеть им, да и Мэми, наверно, не меньше. Мэми, чувствуя, что сама растет в глазах присутствующих, подтверждала, что это сущая правда.

Однако, когда я ближе узнал Гулливера, я понял, что был несправедлив к нему. При всей его манерности и напыщенности в нем жила подлинная любовь к хорошей музыке. Занятия музыкой были необходимы ему по двум причинам: во-первых, они удовлетворяли его детское тщеславие, во-вторых, давали возможность выразить свое преклонение перед классической музыкой, с отдельными произведениями которой он стал знакомить и меня.

Некоторые композиторы, чьи произведения он исполнял, так и не рождали в моей душе отклика. Впрочем, я отдавал себе отчет, что повинен в этом я, а не они. Меня глубоко волновал Шопен, но я не мог понять Баха и по-настоящему оценить Бетховена. Чем значительнее композитор, тем больше требований он предъявляет к слушателю, а я еще не был готов к пониманию величайших музыкальных произведений.

Я любил баллады и часто просил Стюарта Моллисона спеть мне ту или другую. Он делал это с удовольствием.

Слушая музыку или пение, я всегда представлял себе людей. Баллады навевали мне видения — я видел несметное множество людей, изливавших в песнях свои стремления, свои надежды, свое отчаяние, бросающих вызов судьбе; баллады приводили меня в восторг. Пусть слова их были сентиментальны, а музыка невыразительна — я относился к ним с уважением и горячо защищал их от нападок мистера Гулливера, не скрывавшего своего презрения и считавшего, что только опера может удовлетворить его музыкальные запросы.

Я же хотел большего, чем могла дать опера. Я так и сказал мистеру Гулливеру, потрясенному подобным святотатством.

Оперная музыка и пение прекрасны, говорил я, но ведь герои опер любят, страдают и умирают — чаще всего от руки убийцы, — только чтоб прославить музыку, породившую их, а великие, с моей точки зрения, идеи не трогают их. Для меня это не настоящие, живые люди, а персонажи, специально созданные композитором, чтобы, выражая нужные ему чувства, заставить вдохновенно звучать музыку: меня они не вдохновляют. Помимо замечательной музыки, великолепных голосов и благородных чувств, дайте мне еще и жизненный сюжет, тогда и я буду воспринимать оперу так же, как вы. Так говорил я мистеру Гулливеру, внимавшему моим рассуждениям с презрительной усмешкой.

— Чепуха, — возражал он. — Тебе еще надо многому учиться. Опера испокон веков строится на условности. А ты хотел бы превратить ее в средство навязывать людям свои идеи. Где у тебя душа?

Я не знал, где у меня душа, не знал, прав ли я или заблуждаюсь. Думаю, что, защищая народную музыку и баллады от презрительного к ним отношения, я на самом деле защищал своего отца. Да и не только отца, всех простых людей: мужчин и женщин, которые черпали мужество, силу и утешение в песнях, рождавшихся в ответ на призыв бесчисленного множества сердец.

Отец мой любил музыку, хотя за всю жизнь не слышал ни одного оркестра и не видел ни одной оперы. Музыка не сделала его бесплодным мечтателем, она вдохновляла его на служение другим. Я наблюдал за ним, когда он слушал певца, исполнявшего песню о Томе Боулинге. На глазах его были слезы.

Хранил всегда он верность слову,
Он добрым другом людям был,
Наш Том свою красотку Полли
Всем сердцем пламенным любил.
И вспоминаем мы доселе,
Как пел он о краях родных.
Но заменила грусть веселье, —
Ведь Тома больше нет в живых.

Для отца Том Боулинг был образцом настоящего человека. Когда у нас дома кто-либо из гостей запевал песню «Буйный парень из колоний», отец вскидывал голову, как боевой конь, услышавший шум битвы. Народные песни пробуждали у него желание действовать, вступиться за кого-то, помочь. Такие чувства свойственны только настоящим людям.

Как-то я принес ему из зарослей сук дерева. Я отломал его от

чахлого деревца, которое выросло на красной песчаной земле, сумело выжить в борьбе с засухой и жгучими ветрами, стало твердым и несгибаемым, как страна, в которой оно появилось на свет.

Отец любил дерево, любил держать его в руках, любил все, что связано с лесом. Он вырезал из этого сука рукоятку для кнута, стругал ее перочинным ножиком, пока она не сделалась гладкой и блестящей, и украсил резьбой толстый конец.

— Хорошая рукоятка, — сказал я отцу, с удовольствием беря ее в руку.

— Пока еще нет, — возразил отец. — И не скоро станет. Вот когда ты пустишь ее в дело, и все твои приятели пустят, и не один раз, а тысячу, и когда она пропитается потом ваших рук, отшлифуется и станет гладкой, — вот тогда это будет хорошая рукоятка для кнута. Тогда она что-нибудь да будет значить, — а сейчас нет.

С такой же меркой он подходил к балладам и народным песням. Надо, чтобы их пропели много-много людей, чтобы их пели не год и не два, — только тогда эти песни впитают частицу человеческих чаяний. Пусть многие из этих баллад грубоваты и сентиментальны. Они возбуждали в моем отце — да и не только в нем — чувства, не менее достойные и возвышенные, чем те, что вызывали оперные арии у людей интеллигентных.

Я решил про себя, что настанет день, когда и я сумею попять и оценить произведения классиков, — и не сомневался, что, открыв для себя их величие, я обязательно обнаружу в чувствах и мыслях, владевших композитором, отголоски дум и стремлений народов всего мира.

ГЛАВА 5

Поняв, что я не принадлежу к их кругу и не могу стать им конкурентом, обитатели нашего пансиона стали делиться со мной своими огорчениями и заботами. Они понимали, что для них нет ничего унизительного рассказывать о своих маленьких слабостях человеку, у которого у самого столько неприкрытых слабостей.

— У меня ячмень, — говорил мне мистер Гулливер. — Как, по-твоему, поможет, если потереть вокруг глаза обручальным кольцом? Нужно, чтобы к субботе все прошло, — я иду в гости.

— Когда вас приглашают петь в частном доме, — делился со мной своими соображениями Стюарт Моллисон, — хозяева обязаны познакомить вас с гостями и обращаться с вами как с гостем. Я считаю, что это только справедливо, и так и поставлю вопрос.

— В Австралии совсем не ценят таланты, — говорила мне Мэми Фультон. Иногда мне хочется бросить учение и поискать более легких способов зарабатывать деньги. Жаль, что я не стала парикмахершей.

Эти добрые и внимательные люди всячески старались услужить мне пододвигали стул, отступали в сторону, когда я шел через гостиную. Они готовы были принести мне стакан воды, книгу, чтобы избавить меня от необходимости лишний раз подняться с места, сделать лишнее движение.

Они считали, что костыли — это нечто «ужасное», и выражали мне свое сочувствие. Не раз они повторяли, что «надо что-нибудь придумать», и выражали желание раздобыть адреса массажистов, которые — кто знает — может, и принесли бы мне пользу. Мистер Бурмейстер вспомнил, что когда в молодости он растянул себе мышцу, массажист его вылечил, причем стоило это, в конечном счете, пустяки.

— Надо как-то облегчить твое положение, — говорили они и все сходились на том, что только люди, сами испытавшие, что такое ходить на костылях, могут понять, до какой степени мне трудно. Никому из них не пришлось это испытать, но все они были знакомы с такого рода калеками и слышали от них, что хождение на костылях портит сердце.

И потом, ведь надо взбираться по лестницам, и влезать в трамваи, и как опасно поскользнуться на дороге, когда мокро. Трудности подстерегают на каждом шагу…

Ну, и, разумеется, люди. Ведь они так невнимательны к другим. Мистер Гулливер сам видел, как в трамвае старики стояли, а молодые, здоровые люди преспокойно продолжали

сидеть, а Мэми не раз видела, как слепые просили перевести их через дорогу, и «хоть бы кто остановился».

Конечно, быть слепым — это худшее, что может случиться с человеком; впрочем, мистер Гулливер этого не сказал бы. Быть глухим — полагал он хуже. Никогда не слышать музыки — об этом даже страшно подумать!

Миссис Бэрдсворт считала, что, как бы то ни было, я еще могу благодарить судьбу… «У тебя такой веселый нрав, никому и в голову не придет назвать тебя калекой», — говорила она.

Все присоединились к ее словам.

— Посмотреть на тебя, когда ты сидишь за столом и веселишься, ни за что не поверишь, — сказала Мэми.

А Стюарт Моллисон, подводя итог дискуссии, даже сделал мне комплимент:

— Как бы то ни было, Алан, ты славный парень и всегда можешь рассчитывать на наше участие.

Аудитория откликнулась на это заявление одобрительным шепотом, что потребовало с моей стороны несколько скромных благодарственных слов.

То, что мои соседи по пансиону принимали за участие, было на самом деле лишь проявлением сентиментальной жалости, помогавшей им легче переносить зрелище чужих страданий, — жалости, которая нисколько не подбадривала, а наоборот, ослабляла, подрывала волю к борьбе, убивала всякую надежду, желание чего-то добиваться.

Душевное волнение, которое они испытывали при виде калеки, было им неприятно, пробуждало у них первобытный страх перед возможным физическим разрушением, и они пытались отделаться от этого чувства, произнося слова сострадания.

Это было сострадание с позиции силы; выражая сочувствие к ближнему, свою тревогу за его судьбу, они вырастали в собственных глазах, убежденные, что их чувства порождены бескорыстием и добротой, а не являются простой самозащитой.

Чувства эти отнюдь не побуждали их к действиям, а наоборот, заставляли прятаться в свою скорлупу. Они отстранялись от ответственности, которую возлагают на все человеческое общество страдания отдельных людей, воздерживались от поступков, которые потревожили бы их благодушное самодовольство, показали бы им всю непрочность их собственного благополучия.

Никто из них не замечал трудностей, которые мешали жить им самим, трудностей, которые делали их неуравновешенными, разочарованными, заставляли без счета глотать таблетки

аспирина и то и дело обращаться к врачам. Морщины, испещрившие их лица, бессонница, на которую они часто жаловались, бесконечное хождение из угла в угол в весенние вечера, внезапные вспышки раздражительности — все это говорило об их бедах не менее красноречиво, чем костыли о моих.

Всем нам что-то мешало жить.

Самой большой помехой для меня были не костыли, а мнение людей, с которыми меня сталкивала жизнь, их отношение ко мне.

После того вечера, когда жильцы пансиона объединенными усилиями старались подбодрить меня, я редко оставался дома после ужина. Я бродил по городским улицам, где мне не грозило участливое внимание, которое, как бы благонамеренно оно ни было, могло оказаться для — меня пагубным.

Было лето, и после ужина, еще до захода солнца, я направлялся в город, избрав путь через Сады Фицроя. Из травы вспархивали скворцы, и крылья их на фоне яркого закатного неба казались почти прозрачными. Мужчины в потрепанной одежде, низко опустив голову, засунув руки в карманы, слонялись по пестревшим цветами лужайкам. Накрашенные женщины, фланировавшие по парку, останавливались и провожали их оценивающим взглядом. Бродячая собака, расположившись на дорожке, вылизывала старые болячки. Девушка с парнем обнимались на траве.

Я шел под вязами; до меня доносился приглушенный шум города. Шел медленно, радуясь, что скоро с головой погружусь в этот шум, в эту полнокровную кипучую жизнь.

Даже жаркий северный ветер, пробиравшийся между зданиями в начале Берк-стрит и поднимавший клубы пыли, был мне приятен… Ветер поднимал вихрь из клочков бумаги, они скользили по тротуару, обгоняя друг друга, и в поисках убежища устремлялись к телефонной будке. Иные из них кружились как балерины, приникали к моим костылям и затем снова продолжали свой полет.

В дождливые вечера серебристые струйки воды блестели под фонарями и освещенные витрины отражались в мокрых тротуарах. Водосточные трубы что-то лепетали, и люди, прорываясь сквозь хрупкие баррикады дождя, шли в театры.

Но выпадали и тихие вечера, когда все вокруг звенело голосами и веселым смехом.

Огни города, уличная суета возбуждали меня. Я миновал одну улицу, другую. Останавливался и подолгу стоял, не двигаясь, в каком-нибудь темном переулке, где сам воздух, казалось, был насыщен еще не раскрытыми тайнами. Я

всматривался в темноту, вслушивался, ждал. Из переполненных баков для отбросов, окруженных кучами мусора, выскакивали крысы и бросались в разные стороны. Бездомные кошки грациозно прыгали по булыжникам мостовой.

Я стоял, присматриваясь к каждой тени, к каждому огоньку. Ни один звук, ни одно движение не ускользало от меня. Я был на грани великих открытий, они не давались мне, но я знал, что они где-то тут рядом — нужно только знать, как взяться за дело.

Я бродил по Литтл Лонсдэйл-стрит, где на порогах домов стояли проститутки; их силуэты вырисовывались в освещенных проемах дверей, ведущих в убогие конуры. На противоположной стороне улицы стояли мужчины, в нерешительности, в тяжелом раздумье. Некоторые, прежде чем принять окончательное решение, прохаживались мимо домов, безжалостно рассматривая и оценивая товар. Иногда женщины тихо окликали проходящих мужчин.

Эта улица казалась темным мрачным ущельем, которое там и сям прорезал свет, — он падал из дыр, напоминавших вход в пещеру. В этих дырах исчезали мужчины. Они неохотно расставались с темнотой, вступали в освещенную полосу пригнувшись, словно луч света пригвождал их к месту. Когда они выходили, вид у них был еще более подавленный, и решение мучивших их вопросов отодвигалось, по-видимому, еще дальше.

Чаще всего я ходил по Берк-стрит. По ней текли толпы жаждущих удовольствия беззаботных людей. Предвкушение ожидавших их радостей, или общество возлюбленного, или уверенность в том, что все только начинается и отныне жизнь всегда будет такой, как сейчас, помогало этим людям стряхнуть с себя заботы.

Сверкающие улыбками девушки, повиснув на руке самодовольного кавалера, спешили в кинотеатры, где Лилиан Гиш или сестры Толмедж жили на экране своей особой, таинственной жизнью; с испуганными глазами, скрестив руки на груди, они с презрением отвергали домогательства злодеев, готовых надругаться над ними.

Мельбурн был одержим кино. На Берк-стрит господствовали кинотеатры; зазывалы в мундирах с золотым шитьем вышагивали у входа в кино, восхваляя достоинства демонстрирующихся фильмов. Они приглашали на сеанс, повторяя такие слова, как «изумительно», «колоссально», и, покручивая усы, подмигивали девушкам.

Я часто наблюдал за ними, ловил каждое их слово. Они пользовались словами как заклинаниями, чтобы заманить людей в сверкающие огнями кинотеатры. Они взывали к самым

низменным чувствам. Они громогласно превозносили отношения между полами, принятые и одобренные обществом, и столь же громогласно, но не очень убедительно осуждали отношения, которые общество считало порочным. Но взглядом и интонацией они давали понять, что именно эти порицаемые всеми отношения сулят несравненно больше наслаждений и радостей, нежели аскетическая жизнь рабов условностей. И к тому же, что может быть проще, чем вступить в такие отношения.

«В объятиях принца она нашла любовь, в которой отказывал ей муж. А ты, сынок, не торчи на проходе; если еще раз сюда заявишься, получишь по заду».

У одного из зазывал, которого я особенно часто слушал, голос — когда он принимался зазывать публику — был подобен звуку мощного органа, но стоило ему заговорить со мной, как у него появлялась интонация провинциального сплетника.

— Заходите, не упускайте случая, в вашем распоряжении только два вечера, чтобы увидеть Норму Толмедж в фильме «Испытание любви». Несравненная Норма Толмедж в великолепном фильме, затрагивающем величайшую жизненную проблему! Решайтесь! Ей предстоит сделать выбор между любовью во дворце богатого распутника, которая принесет ей гибель и разобьет ее сердце, и любовью, которая приведет ее в объятия преданного шофера. На что она решится? Посмотрите, как страдает прекрасная женщина, терзаемая соблазнами плоти. Передние места — шесть пенсов, задние — по шиллингу. Ну — как жизнь? — закончил он тираду, приблизившись ко мне величественной походкой.

— Не плохо. А вы сегодня в ударе!

— Да что там, четверг — плохой день. Дерешь горло понапрасну.

Он повернул голову в сторону гуляющих и снова начал:

— Несравненная Норма Толмедж… Последние два вечера. — А затем продолжил разговор со мной: — Говорят, будто полицейские собираются забастовать. Не слышал? Вообще-то я от фараонов предпочитаю держаться подальше, запомни это, но тут я целиком на их стороне.

Я читал газеты и знал, что полицейские требуют улучшения условий работы, но предполагал, что они без труда добьются своего. Я имел весьма смутное представление о борьбе за улучшение условий работы, которая велась вокруг меня — на заводах, верфях, всюду, где работали люди; не знал я и о том, как жестоко подавляется эта борьба.

— Неужели дело дойдет до забастовки? — спросил я.

— Похоже, что дойдет, — ответил он и снова завопил: — А

ну, девочки! Знаете, как приятно посидеть рядом со своим дружком в темном уголке! — Порой он выражался довольно-таки туманно.

В жадной до развлечений уличной толпе можно было заметить мужчин и женщин, которые не интересовались ни фильмами, ни танцами. Были среди них и молодые, но преобладали люди среднего возраста. Медленно, без цели бродили они по улицам, стояли, сгорбившись, в дверях домов, рыскали в поисках окурков или равнодушно глазели на витрины.

Это были бездомные, опустившиеся люди, алкоголики, потреблявшие «мето»[6] маньяки. Они шли на улицу, потому что там кипела жизнь; черпая из этого источника, они пополняли свои угасающие силы. Кроме того, там они были в обществе людей и ощущали себя его частицей, даже если это общество презирало и отвергало их.

Эти люди уже утратили способность протестовать, бороться. Они смирились с нуждой. Возможность поболтать была единственным доступным им удовольствием. Но о чем могли они разговаривать с весело настроенными прохожими? Захотят ли те их слушать? А выслушав, поймут ли? Оставались такие же горемыки, как они, птицы того же полета. Это были для них подходящие собеседники. Знакомства завязывались быстро, быстро находилась и тема для разговора.

Останавливались поболтать они и со мной, увидев, как я стою, прислонившись к стене. Стоя рядом, мы рассматривали прохожих. Мы не обменивались предварительно шутками, не искали повода заговорить; дело обходилось и без замечаний о погоде. Мои одинокие уличные бдения были достаточным поводом для знакомства. У нас сразу находился общий язык.

Иногда разговор начинался с вопроса:

— А чего это ты на костылях? Что случилось-то?

— Паралич.

— Скверная штука… — Считая вопрос исчерпанным, собеседник переходил к другой теме.

— Когда-нибудь думал о самоубийстве? — спросил меня какой-то мужчина. На этот вопрос навел его вовсе не мой вид — просто он сам подумывал об этом.

Он был худ и изможден, с лицом закоренелого пьяницы; остановился он рядом со мной внезапно, словно повинуясь какому-то внутреннему импульсу. Щеки у него ввалились, вокруг губ запеклась грязь. Потрепанные брюки были подвязаны веревкой. Рубашка без пуговиц. Из-под драной шляпы выбивались курчавые волосы. Иногда он вздрагивал, хотя вечер был теплый. Пахло от него как из мусорных ящиков в темных переулках.

— Нет, — сказал я, — не думал; то есть, конечно, думал иногда, но это дело не для меня.

— А я думаю, — сказал он. — И даже часто. Но не надо с этим спешить, лучше выждать. Он изменил тон.

— А зачем мы вообще живем, спрашивается? Какого черта это нам надо? Я где-то читал, что китайцы не боятся смерти. Им наплевать на нее. Что у них за жизнь — работают целый день и валятся спать голодные. А у меня жизнь чем лучше? Но хватит думать об этом, а то еще с ума спятишь. Себя прикончить это, знаешь ли, легче легкого. — Он вытянул вперед руки ладонями кверху и стал рассматривать их, словно прикидывая, годятся ли они для того, чтобы привести приговор в исполнение. — А впрочем, может, и нелегко. Не узнаешь ведь, пока сам не попробуешь.

— Я все время думаю об этом — в трамваях, в поездах, повсюду, продолжал он. — Какой смысл во всем этом? Через пятьдесят лет никого из нас не будет в живых. Представь себе, что на этой улице убили бы сто человек. Сейчас все газеты стали бы трубить об этом, а через сто лет те же газеты напишут, что тогда-то произошел несчастный случай, и никого это не тронет, ведь верно?

— Пьешь «мето»? — спросил я.

— Иногда пью… Немного… Только если нет ничего другого.

— Трудно бросить пить, — заметил я.

— Невозможно. В том-то и беда. Не можешь отвыкнуть, да и все тут. — Он задумался на мгновение и сказал: — Хотел бы я сидеть наверху, на небе, и поглядывать на землю. Видел бы ты, какие поганые дела здесь творятся, у тебя бы глаза на лоб полезли.

Постепенно я узнал многих из этих бродяг. Среди них попадались люди скучные, нагонявшие тоску, и те, кто мне нравился, предостерегали меня:

— Ты с этим парнем больше не разговаривай. Изведет тебя. Больно любит поучать. О чем ни заведешь речь, он все знает наперед. Достаточно сказать ему: «Здорово», — и ты пропал.

Кое-кто делился со мной своими мыслями о книгах.

— Погляди, сколько книжек в витрине. За всю жизнь их не перечитаешь. Но о чем говорится в доброй половине из них, я и так знаю. Видишь картинку: девушку обнимает парень. Вот об этом в них и говорится. Кто захочет читать о тебе или обо мне, когда есть книга про эту девчонку.

— Вон видишь еще книгу — называется «Маленький священник», — продолжал он. — Так вот послушай меня. Если это первое издание, оно стоит кучу денег. Вроде как марки — чем

старее, тем дороже. Я знал одного малого — вся комната у него была забита книгами. Он мне показывал, когда я у него плотничал. «Среди этих книг много очень ценных, — говорил он. — Все — первые издания». Этот малый просто выжидал, чтобы продать их получше.

Расставшись с этими людьми, я записывал все, что они говорили, в свой блокнот. Я как зачарованный прислушивался к словам собеседника, напряженно ожидая, что вдруг он обронит какую-нибудь фразу, которая навсегда запечатлеет его в моей памяти, или, наоборот, рассчитывая услышать от него что-то такое, что с одинаковым правом мог бы сказать каждый человек.

С этими людьми я разделял их развлечения — ходил слушать уличные проповеди Армии спасения или разглагольствования какого-нибудь чудака на уличном перекрестке, слышал, как каялись томимые жаждой алкоголики, живописуя свое падение и последовавшее за ним исцеление, — после чего они неверным шагом устремлялись в ближайшую пивную.

«Вокруг света за два пенса» — так называли они напиток, повергавший их в спасительное забвение.

Я был потрясен невежеством и суеверием, которые встречал на каждом шагу. Да, конечно, все это были человеческие отребья, но где же разумные люди, которые должны видеть истинное положение вещей и которые могли бы при желании обличить всю эту гниль и покончить с ней? Куда только шли мы все в своем безумии?

Как-то я остановился посмотреть на женщину, стоявшую на ящике в самом начале Литтл Лонсдэйл-стрит, на виду у проституток, молча дежуривших у своих дверей. Вокруг нее толпилось несколько человек, обращенные к ней лица казались в свете уличного фонаря воспаленными. Вечер был холодный, кое-кто был в потрепанном пальто, но на женщине была лишь синяя вязаная кофта поверх серого бумазейного платья.

Она была очень худа и улыбалась невесело, однако в этой улыбке не было ничего неприятного. Казалось, очень давно что-то привело ее в величайшее удивление, и это удивление осталось при ней навсегда. Глаза были широко раскрыты, в них мелькала сумасшедшинка, словно, вглядываясь в темноту, за спинами окруживших ее людей она видела что-то, недоступное человеческому пониманию.

Я принялся записывать ее слова в свой блокнот; человек, стоявший рядом со мной, заинтересовался тем, что я делаю.

— Ты что, писатель? — спросил он.

— Да как тебе сказать, пожалуй, да, — пробормотал я.

— Так я и думал, — сказал он и повернулся к своему

спутнику: — Меня не проведешь.

Между тем женщина в вязаной кофточке возглашала со своего амвона: «А кроме святого Павла, кто же они, сильные и могучие мужи?»

Она ждала ответа. Какой-то толстяк с одутловатыми, небритыми щеками, стоявший прямо перед ней впереди других, презрительно плюнул. «А, заткнись», — сказал он с отвращением.

— Я вижу, ты выпил лишнего, брат мой, — возразила проповедница.

Эти слова вызвали неожиданную реакцию. Он сдернул шляпу и бросил ее на землю.

— Кто это сказал? — крикнул он и стал озираться по сторонам, словно ожидая, что его тут же побьют.

— Продолжай, милая, — сказала широкоплечая рослая женщина, давая понять проповеднице от лица всех присутствующих, что на это нарушение порядка не надо обращать внимания. — Продолжай! Здорово у тебя получается, да благословит тебя бог.

Эта женщина часто оборачивалась и милостиво улыбалась людям, стоявшим позади нее. Мощные руки ее были скрещены на груди. Иногда она кивала, как бы подтверждая справедливость слов проповедницы.

— Добрые люди, — продолжала та, — если вы примете слово божие, он запишет ваши имена в божественной книге Агнца.

— Черт возьми, карандашей у него, верно, девать некуда, — прервал ее пьяный толстяк.

Когда великанша услышала это дерзкое замечание, ноздри у нее стали раздуваться, как у боевого коня.

— Сейчас я его стукну, как бог свят, стукну, — сообщила она нам доверительно. — Эй, ты, — крикнула она пьянчуге. — Ну-ка, посмотри на меня. Силенок у меня хватает. Если уж стукну кого — мокрое место останется. В лепешку расшибу. Лучше помолчи.

Эти внушительные слова тотчас отрезвили толстяка, который в изумлении воскликнул:

— Ишь ты! Черт меня побери!

Он уставился в землю, ошарашенный сложностью женской натуры, которая так внезапно открылась ему. Потом стал лихорадочно шарить по карманам в поисках трубки и, найдя, с залихватским видом зажал ее в зубах.

— Табак — это зло, братья, — воскликнула проповедница, указывая на толстяка. — Табак и виски. О люди, — ь продолжала она, прижимая к груди руки, — табак вам дороже самого господа бога.

— Иисус сам не отказался бы от трубочки, — заявил пьяница,

в качестве оправдания.

Проповедница, уязвленная до глубины души столь кощунственным заявлением, выпрямилась в порыве негодования и воскликнула: «Чтобы господь бог мой стал курить — никогда!»

— Молодец! Правильно! — одобрила великанша.

— А разве не Иисус превратил воду в вино? — не унимался пьянчуга.

— Не шумите, сударь, — стала уговаривать его проповедница.

— А ну цыц! — прикрикнула великанша, делая шаг к пьяному. Она протянула руку, сорвала с его головы помятую фетровую шляпу и бросила ее на то самое место, куда за несколько минут перед этим она была брошена как перчатка, означающая вызов на дуэль.

Этот поступок доставил ей огромное удовольствие. Чувство справедливости было таким образом удовлетворено. Она громко расхохоталась, как бы давая понять, что считает всех нас соучастниками своего подвига. Одновременно она окинула нас грозным взглядом, очевидно желая предупредить какие-либо критические замечания.

— Эй, ты, с папироской, — воскликнула проповедница, указывая на меня, ну-ка скажи — куда ты попадешь после смерти?

Я опустил голову под перекрестным огнем множества глаз.

— Я спасу твою душу, — пообещала она мне истошным голосом.

Пьяница с большим трудом оторвал от земли ногу в дырявом сапоге и показал его проповеднице.

— Сапог и то спасти не могла, — крикнул он.

— Иисус дарует вам венец жизни, — ликующе возгласила проповедница.

Вперед протискался однорукий мужчина; грязь и какой-то странный пух следы вчерашней ночлежки — покрывали его впавшие, заросшие щетиной щеки. Он диким голосом заорал:

— Берите мою жизнь, Христа ради, берите. И поскорее. На что мне она нужна.

— Бог сказал… — продолжала проповедница.

— Он не говорил, что курить нельзя, — прервал ее пьяница.

-..что богачи со всем своим серебром и златом будут гореть в адском огне, — закончила она на высокой ноте.

— Вы послушайте меня, — снова заговорил однорукий.

— Убирайся прочь, — закричала великанша, приближаясь к нему, — рехнулся ты, что ли?

Подняв словно для защиты единственную руку, он нырнул в

толпу.

— Бог еще может сделать из тебя человека, — крикнула ему вслед проповедница, — ты еще встанешь на ноги.

— Дожидайся, — огрызнулся он с насмешкой. Маленькая женщина с острым личиком тронула меня за рукав и тихо сказала:

— Дай докурить.

Я протянул ей пачку сигарет. Взяв одну, она зашептала с жаром:

— Желаю тебе счастья. Я буду молиться Спасителю, чтобы он тебе помог. Боже милостивый… Желаю тебе удачи. Я помолюсь за тебя.

Она возвела глаза к небу и снова опустила их. Однорукий, пробираясь сквозь толпу, грубо толкнул ее, и она тут же набросилась на него:

— Чтоб тебе никогда счастья не было, — крикнула она злобно. — Чтоб ты пропал. Господь тебя накажет.

— И подумать, что всего лишь девятнадцать веков назад он был здесь, на земле, — сказал пьянчужка в ответ на какое-то восклицание пророчицы.

— А знаешь, почему его нет среди нас, — отозвалась она торжествующе. Он ждет, чтобы трубный глас возвестил конец света.

И проповедница стала раскачиваться как в трансе.

— Отрекитесь от всякой скверны! Отрекитесь от нее! — Тут она с неожиданной силой взвизгнула: — Близок конец! Все мы скоро умрем.

Это мрачное пророчество вывело пьяницу из состояния задумчивости, в которое он на время погрузился. Он посмотрел на проповедницу, разинув рот, затем повернулся ко мне и сказал испуганно:

— А ведь в этом что-то есть.

— Придите ко мне все страждущие… — продолжала проповедница.

— Со мной что-то произошло, клянусь богом. Я узрел свет истины, — вдруг объявил пьяница.

— На Грэйс милость господня.

Высокая женщина приблизилась ко мне и, наклонившись, шепнула на ухо:

— Знаешь, Грэйс Дарлинг написала книгу.

— Да что вы?! — сказал я.

— А ты, видать, писатель?

— Пописываю немного.

На лице ее появилось заговорщическое выражение. В глубине

глаз словно приоткрылось окошко, затем она сощурилась и спросила шепотом:

— Хочешь пойти ко мне на ночь?

— Нет, спасибо, — ответил я.

Выражение ее лица тотчас же изменилось, окошко захлопнулось, и она сказала:

— Нет так нет.

— …Значит, ты — писатель, — продолжала она уже совсем другим тоном. Я тоже. Читал когда-нибудь «Тэсс из страны бурь»?

— Читал.

— Это я написала.

— Хорошая вещь, — заметил я.

Тем временем проповедница, закончив тираду, сошла со своей «трибуны». Великанша положила одну руку на ее поникшие плечи, другую — на мои и сказала:

— Надо нам троим как-нибудь собраться и помолиться богу отдельно, без всяких там пьянчужек и прочей швали.

Но тут ее тронул за плечо тот самый пьянчуга.

— Хочешь выпить? — прошептал он. — Я раздобыл бутылочку.

— А деньги у тебя есть? — спросила женщина, продолжая обнимать за плечи меня и проповедницу.

— Пара монет найдется.

— Сейчас приду. — Она снова повернулась к нам, продолжая разговор: Нам надо бы собраться втроем и восхвалить господа.

— Душу-то спас? — спросила меня проповедница.

— Пожалуй, спас, — подтвердил я.

— Ну, пошли, что ли, — с нетерпением прервал нас пьяница.

— Мне пора, — сказала великанша и похлопала проповедницу по плечу. Славно потрудилась, милая, да благословит тебя бог.

Она властно взяла пьяницу за руку и уверенно зашагала, уводя его в темные закоулки Литтл Лонсдэйл-стрит.

ГЛАВА 6

Разговоры с людьми, которым городские улицы заменяли домашний очаг, закаляли мой характер.

Прежде я иногда считал себя несчастным человеком, на долю которого выпали беды и лишения, неведомые другим людям. Общаясь с этими отверженными, я стал меньше ощущать свою собственную неполноценность. Напротив, я стал смотреть на себя чуть ли не как на счастливца. Мои костыли начали казаться мне мелкой неприятностью по сравнению с трудностями, которые эти люди испытывали на каждом шагу; видя, как они льнут ко мне, как благодарны за участие, проявленное к их судьбе, я с каждым днем чувствовал себя все более довольным и счастливым.

Мы понимали друг друга. Неуверенность в завтрашнем дне, бедность связывали их узами более тесными, чем дружба. Скоро и я почувствовал, как сильны эти узы. Неприятности, которые причинял мне мой физический недостаток, были хорошо понятны этим людям: ведь в конце концов это была одна из проблем, осложнявших человеческие отношения, — только так они ее и воспринимали.

Теперь уже моя злость, мое возмущение были обращены не против того, что мешало в жизни мне самому, — ибо я понял, что мне еще повезло, — а против того, что калечило жизнь многих мужчин и женщин, которых мне приходилось встречать.

Неожиданно я почувствовал, что кому-то нужен. Какое волшебное, возвышающее чувство! Я увидел перед собой цель, почувствовал, что вношу в жизнь свою долю. Мои записные книжки стали заполняться разными историями, рассказанными мне в порыве откровенности этими людьми, — историями, которые я твердо решил когда-нибудь поведать миру.

— Я ей говорю: «Ради бога, не уходи ты от меня. И не забирай детей это все, говорю, что у меня есть. Ради них я землю копаю. Я его скорей пристрелю, чем детей потеряю…» Понимаешь, Джин всего восемь лет, а она подходит ко мне и спрашивает: «Еще чашечку чая?» Ну, как тут не растаять? А Джорджа я воспитываю так, как меня самого учили на нашем корабле «Уорспайте». Каждое утро он чистит зубы и волосы приглаживает щеткой, а когда вечером возвращается из школы, то опять чистит зубы и приглаживает волосы. А что с ним будет, если он тому парню в руки попадет? И с Джин что будет? Я пришел к выводу, что любовь неминуемо рушится, если между мужчиной и женщиной встает такой порок, как пьянство, если нищета, безработица, отчаяние затуманивают их разум. Я чувствовал, что любовь

необходима обоим для дальнейшей жизни, и когда мне приходилось видеть крушение любви, я впадал в уныние и порой испытывал страх.

Как-то в дансинге я стоял у стенки, вдруг мимо меня пробежал молодой человек, за ним девушка. Она схватила его за руку, и они остановились неподалеку от меня, горячо споря. Девушка была в длинном вечернем платье, подчеркивавшем стройность ее фигуры. Рассмотреть ее было невозможно, в темноте она казалась легкой тенью, разделенной пополам светлой полоской обнаженных рук, стиснутых на груди.

Свет, падавший сквозь стекло телефонной будки, позволил мне разглядеть лицо молодого человека. Оно выражало непреклонную решимость не поддаваться ее мольбам.

Он с силой отшвырнул ее от себя:

— Оставь меня наконец в покое! Отвяжись от меня, слышишь? Ты не даешь мне проходу. Отправляйся домой, сейчас же.

Он кричал пронзительным голосом, в котором звучало ожесточение. А она крепко держала его за рукав и тихо в чем-то убеждала.

— Ты мне уже все это говорила. Отстань от меня. Ты мне не нужна. Пусти меня!

Он вырвался и сделал несколько шагов, но она снова нагнала его и снова вцепилась в него, сквозь рыдания умоляя не бросать ее.

— Ты всегда потом каешься, — кричал он, — ты мне осточертела. — И в ответ на какие-то ее робкие слова вдруг заорал: — Нет, я не пьян. Понятно? Убирайся ко всем чертям! Пусти меня, проклятая!

«Он толкнул ее с такой силой, что она пошатнулась, но тотчас же снова с плачем бросилась к нему. Он попытался увернуться и двинулся к двери, но девушка догнала его, судорожно обняла и спрятала лицо у него на груди.

— Не липни ко мне. — Он оттолкнул ее от себя. — Делай что хочешь. Живи как знаешь. Мне ты не нужна. Рыдая, она что-то ему зашептала.

— Все это я уже слышал, — крикнул он. — Оставь меня в покое. Отцепись, понятно! Ты мне надоела, — никак не отвяжешься.

Она продолжала что-то говорить, уткнувшись ему в грудь.

— Вот что, иди домой. Нечего тут тебе околачиваться! Неужели ты не можешь оставить человека в покое? Она обняла его за шею и заплакала навзрыд.

— Ладно, ладно. Пошли! Я тебя провожу, — оборвал он ее. —

Я провожу тебя домой. — И затем крикнул с яростью: — Перестань только виснуть на мне.

Он решительно двинулся вперед, одной рукой обняв ее за талию, и чуть ли не поволок за собой. Она продолжала его упрашивать, пытаясь заглянуть ему в лицо.

— Помолчи, ради бога, — огрызался он. — Снова принялась за свое. Мне наплевать на все, что ты говоришь, Замолчи!

Наблюдая за ним, я дивился его неистовому озлоблению. Я понимал, что дело тут вовсе не в этой девушке, которая с глупой настойчивостью пыталась вернуть утраченную любовь. Ярость его была вызвана недовольством жизнью, его собственной жизнью, — хотя он этого и не сознавал.

Мы с ним были одного поля ягода. Я знал, что вызывало подобные вспышки гнева у меня, и мог понять его. Я был уверен, что он, не отдавая себе в том отчета, мечтал, чтобы у него появилась в жизни какая-то цель, которая вдохновляла бы его и толкала к действию. Может быть, в какой-то момент такой целью в жизни показалась ему эта девушка, может быть, она подвернулась, когда он устал искать.

Наверно, было время, когда он думал, что встреча с ней поможет ему разрешить мучившие его вопросы. Но он ошибся. Разрешить эти вопросы не могли ни он и ни она, разрешить их могли лишь все люди сообща.

Живя в Уоллоби-крик, я понял, что такого рода вспышки ярости были результатом скудости жизни, являлись для этих людей своего рода отдушиной, когда им становилось невмоготу. Человеческие чувства были, подобно пару в котле, движущей силой, заставлявшей людей творить, добиваться, дерзать… Если эти чувства не находили выхода, предохранительный клапан срывался, и тогда их отчаяние и ярость обрушивались на того, кто был под рукой, кто, как им казалось, был источником всех бед.

Иногда эти долго сдерживаемые чувства, затаенные обиды прорывались наружу с ужасающей силой.

В ту пору моей жизни полицейские штата Виктория объявили забастовку, требуя улучшения условий труда. Две ночи подряд мужчины и женщины, одержимые алчностью и ненавистью, рыскали по улицам, как стаи волков, громя и разрушая все на своем пути. Зная, что арест им не грозит, эти люди окраин, которых общество научило видеть в зажиточности символ успеха, а в бедности — символ неудачи, кинулись грабить. Ведь совершенно неожиданно имущество тех, кто добился успеха, оказалось в их распоряжении, никем не охраняемое.

Вечером в пятницу — в тот день, когда распоясавшаяся толпа впервые вышла из подчинения, — я стоял на Берк-стрит и

смотрел, как поспешно расходятся по домам служащие больших магазинов. Обычно по пятницам магазины закрывались поздно, на обочине тротуара в ожидании своих подружек выстраивались длинные ряды молодых людей — «панельные кавалеры», — которые затем быстро расходились под руку с улыбающимися девушками.

Но в этот вечер все было по-другому — в атмосфере не было ничего праздничного. Весь день по городу циркулировали слухи о вспыхнувших то тут, то там беспорядках, и люди были встревожены. Прохожие не разглядывали витрины, они смотрели на встречных, причем зачастую подозрительно, словно пытаясь определить, с кем имеют дело. Время от времени мимо меня проходила ватага хулиганящих подростков, и тогда на лицах прохожих читалось волнение и страх.

Обычно по пятницам после девяти вечера непрерывный поток людей устремлялся к вокзалу на Флиндерс-стрит, — сегодня этот поток был смят. Люди, направлявшиеся домой, сталкивались с людьми, которые большими группами двигались в обратном направлении; затесавшиеся в толпу зеваки толкались, стремясь создать беспорядок и неразбериху. Люди, выходившие из вокзала, спешили по направлению к Берк-стрит, посматривая по сторонам, нет ли чего интересного.

Я остановился рядом с «Капитаном». Это был пожилой человек с подстриженной бородкой, обычно стоявший навытяжку, словно по команде «смирно». На нем был синий костюм из дешевой саржи, пиджак с небольшими лацканами украшал длинный ряд медных пуговиц. Этот старомодный костюм он тщательно хранил с давних пор. «Капитан» имел обыкновение каждый вечер прохаживаться по тротуару на углу Берк-стрит и Рассел-стрит и выкрикивать слова морской команды, чувствуя себя, по-видимому, на мостике. Со мной он всегда говорил о море и о кораблях, и я многое от него узнал.

Сегодня вечером он прошелся со мной по Берк-стрит, но когда я повернул в направлении Суонстон-стрит, откуда доносились шум драки и крики, он остановился.

— Надвигается буря! — произнес он напыщенным тоном, театрально взмахнув рукой. — Да, парень, ветер крепчает, надо держать курс на гавань.

Он поднял голову и крикнул прохожим.

— Бросайте якорь, — и, обращаясь ко мне, произнес тихо: — Спокойной ночи, паренек.

— Спокойной ночи, капитан.

Он ушел, а я прислонился к витрине, чтобы меня не сбили с ног бегущие мимо люди; один из них подхватил на ходу

встречную девушку и закружил ее с такой силой, что она не сразу обрела равновесие, став на ноги. «О боже», воскликнула она, поравнявшись со мной. На лице ее застыли испуг и изумление.

— Скорей бегите домой, — посоветовал я ей.

— Я и пытаюсь это сделать, — сказала она и сердито добавила: — Вот ведь скоты!

На мостовой парни и девушки принялись петь и танцевать. Девушки перелетали от одного парня к другому. Парни бесстыдно хватали их и кружили, так что юбки взлетали чуть ли не до пояса. Некоторые пронзительно, истерически визжали.

На улице была сильная давка, и я боялся, что меня собьют с ног. Отойдя в сторону, я прислонился к телефонной будке и стал наблюдать за происходящим. В будке стояла женщина средних лет с острым носом и завитыми волосами и тараторила в трубку.

— Тут очень душно, — говорила она, — в будке прямо дышать нечем… Да, да… А что, Роберт уже приехал? Да, да… Это уж всегда так — уедет на несколько дней, а кажется, что прошла целая вечность. — Она подергала за крючок и продолжала: — Так шумно на улице… Вот теперь лучше слышно. Так я говорю: кажется, что прошла целая вечность… Да, да, тут шумят какие-то пьяницы. Невежи… Это просто ужасно… Куда мы только идем… В саду у нас прекрасно. А ведь там была свалка, помните… Мы и сейчас находим старые жестянки. Но Том говорит, что мы не даром потрудились, окупится вдвойне… Да, я так думаю… А как мальчуган?.. Замечательно… А как родители ваши, здоровы?.. Чудесно… Как приятно, что они так хорошо сохранились… И в такие преклонные годы… Как Эдит? Великолепно… Учитель в ней души не чает… Сейчас у нее экзамены. Она сдала уже два — один на отлично… Но вообще с ней нелегко. Она в таком возрасте, когда родителям ничего не говорят… Да, я знаю… Что?!! Не может быть!.. Ну я выбью это у ней из головы… будьте уверены.

Поблизости от телефонной будки завязалась драка.

Послышалась брань мужчин. Визгливый женский голос тоже выкрикивал ругательства.

Я вернулся в пансион и задержался в гостиной поговорить с мистером Гулливером.

— В городе ожидаются беспорядки, — сказал он. — Посидите несколько вечеров дома, нам не хотелось бы, чтобы с вами что-нибудь случилось. Ведь вас так легко сбить с ног в давке.

И все же на следующий вечер я снова отправился в город; мне хотелось своими глазами увидеть все, что творилось там. Хотя многие трамвайные маршруты и железнодорожные линии не работали, улицы были полны народа. Только это была не обычная

толпа, в которой преобладала театральная публика и запоздавшие покупатели. Теперь большинство составляли праздные зеваки, явившиеся из городских предместий поглазеть на город, оказавшийся во власти анархии. Особенно влекло их туда, откуда доносились шум и крики, возвещая о драке. Они говорили, перебивая друг друга, спеша поделиться слухами. «Кажется, сейчас будут громить магазин Майера».

Многие, с кем я встречался в этот вечер, выражали разочарование по поводу того, что ничего страшного не происходит.

В толпе, грубо расталкивая встречных, шныряли решительного вида люди это были представители мельбурнского «дна», считавшие себя в эту ночь хозяевами города.

Власти, предвидя всякого рода беспорядки, начали поспешно вербовать желающих в специальные отряды констеблей. Среди добровольцев было немало фермеров и молодых коммерсантов, не имевших представления о причинах забастовки.

Я разговаривал с портовым рабочим, когда на Суонстон-стрит вступил отряд таких добровольцев; они сжимали дубинки и бросали настороженные взгляды на враждебно настроенную толпу. Раздались брань и улюлюканье; добровольцы, видя враждебность толпы, смущенно переглядывались, иные из них вздрагивали и ежились, когда им в лицо бросали презрительное слово: скэб[7].

— У нас в порту во время последней забастовки тоже нашлись скэбы, сказал мой собеседник. — Не хочу оправдывать скэбов вообще, но среди них попадаются и порядочные. Вот эти ребята, например, — они просто не понимают, что делают, в этом их беда. Один малый у нас на верфи был штрейкбрехером, а когда все кончилось, говорит мне: «Хорошо тебе, ты можешь смотреть людям в глаза, — ты бастовал. А мне что остается — только умереть. Я бы отдал правую руку, лишь бы не быть скэбом». Это его доподлинные слова. Жаль было его, непутевого.

Я расстался со своим спутником и пошел на угол Флиндерс-стрит. Там у здания вокзала, возле трамвайной остановки, толпа очистила часть улицы, и на пустом пространстве образовалось нечто вроде арены.

В центре этой арены стояли два матроса, что-то кричавшие окружавшей их толпе. Оба были пьяны и вызывали на поединок любого, кому «охота подраться». Им казалось, что, поскольку они носят форму, к ним теперь перешла вся ответственность за поддержание порядка и что отныне они обязаны защищать некое отвлеченное понятие, которое они именовали «лояльностью».

— Лояльность он защищает! Как бы не так! — кричал какой-

то скептик из толпы.

— А ну, выходи, я тебя отделаю как бог черепаху, — вопил в ответ матрос.

Он не особенно верил в воспитательную силу слова и отдавал предпочтение физическому воздействию.

— Ты меня отделаешь? Как бы не так, — возразил забияка из толпы. Смотри сам на кулак не наткнись, жалкий червяк.

Это был невысокий, крепко сбитый человек в синей куртке с продранными локтями. Он выступил из толпы, выражение лица у него было решительным, он на ходу застегивал куртку.

Стоявший рядом со мной словоохотливый человек заметил:

— Если парень начинает застегивать куртку, чтобы подраться, он обязательно получит нокаут на последней пуговице. Это закон, — вот послушай…

Он собрался подтвердить свое наблюдение соответствующими примерами, но я уже не слушал.

К матросу поспешил на подмогу его приятель, и оба они накинулись на врага; тот, однако, искусно защищался и, хоть и отступал под ударами, не думал сдаваться.

Видя, что двое бьют одного, толпа возмутилась — несколько человек выбежали на арену и бросились с кулаками на моряков, которые вскоре оказались в кольце людей, полных решимости разделаться с ними. Однако защитники нашлись и у них, те тоже полезли в драку, и скоро на арене разыгралось самое настоящее побоище — видны были только бурлящая масса народа и кулаки, которые били по ком попало.

Дерущаяся толпа начала медленно, рывками продвигаться по Суонстон-стрит, словно наметив себе впереди какую-то зловещую цель, ничего общего не имеющую с этой схваткой. При этом толпа медленно вращалась вокруг своей оси, напоминая смерч, ощетинившийся молотящими кулаками, — смерч этот поминутно выталкивал скорчившихся, шатающихся от боли, залитых кровью людей и всасывал свежих бойцов. Толпа поглотила и «констеблей-добровольцев», бросившихся наперерез, яростно размахивая дубинками, стремясь нанести удар, прежде чем у них вырвут это оружие. Движение сопровождалось разноголосым гулом: слышались проклятия, вопли, стоны и какой-то чудовищный хрип.

Волна людей, отхлынувшая в панике от дерущихся, увлекла за собой и меня. Все вместе мы были похожи на ниву, где каждый колос гнется под порывами ветра. Мы были так тесно прижаты друг к другу, что упасть было невозможно: мне грозила другая опасность — сползти как мешок под ноги бегущим, в этом случае меня растоптали бы в одно мгновение.

Я крепко держал костыли и прижимал их локтями, чтобы они не выскользнули из-под мышек. Пока костыли были под мышками, мне нечего было бояться, что я соскользну вниз. Я выставил локти, упираясь ими в двигавшихся рядом со мной людей и перенося на них часть своей тяжести. В таком положении меня пронесли значительное расстояние.

Мне пришло в голову, что в этой толкучке Стрелок Гаррис чувствовал бы себя как рыба в воде. Какой обильный улов кошельков и сумок ждал бы его здесь! Но тут я почувствовал, что сдавливавшая меня толпа раздалась, и я пошатнулся. Мужчина и женщина, на которых я опирался и которые сами с трудом сохраняли равновесие, вдруг поняли, что я — на костылях, и стали кричать об этом другим.

— Тут человек на костылях, — завопила женщина. — Осторожней! Вы можете сбить его с ног! Не толкайтесь.

— А ну, расступитесь! — присоединился к ней мужчина. — Перестаньте напирать, черт вас возьми, пока мы его не выведем отсюда.

Люди слышали эти крики, но, судя по выражению их лиц, не обращали на них никакого внимания. Низкорослые, в надежде увидеть хоть что-нибудь, выглядывали из-за плеч высоких. Женщины стояли, уткнувшись в спины стоявших перед ними мужчин. Мужчины опирались подбородком на головы женщин.

Иные, смятые напором толпы, держались за плечи тех, к кому они были прижаты, в этой позе они напоминали маленьких коал, прильнувших к своим матерям. Лица поражали какой-то пустотой, незрячестью. Покачиваясь на месте или продвигаясь вперед короткими перебежками, люди не озирались по сторонам. Они думали об одном: как бы устоять.

Все же кое-кто подхватил возглас стоявшей рядом со мной женщины: «Тут человек на костылях». Мужчина, шедший с другой стороны, пригнулся, набычил шею и стал работать локтями, чтобы расчистить для меня место. Послышались крики, брань. «Ошалел ты, что ли?» — заорал кто-то. Но усилия моего соседа увенчались успехом, он понемногу расчищал дорогу к витрине какого-то магазина, и я двигался по пятам за ним. Там я постоял немного, ухватившись за раму, и когда напор толпы ослабел, стал пробираться вдоль здания, пока не вырвался из людского водоворота. Я продолжал идти вперед, и добрался наконец до ратуши; там творилось бог знает что; толпа, отгоняемая чиновниками и чинами особой полиции, то откатывалась назад, то снова наседала. Я ничего не видел за чужими спинами, но хорошо ощущал чувство, владевшее толпой. Это была даже не ярость, а дикое, необузданное стадное желание крушить все

подряд. В этот момент толпа уподобилась рвущемуся с цепи зверю.

Я чувствовал, что цепь вот-вот порвется, и торопливо пробирался вдоль витрин, стремясь убраться оттуда. Я уже оставил далеко позади это скопище людей, когда были пущены в ход пожарные шланги; до меня донеслись крики и визг, и я увидел, как люди скользят и падают, настигнутые водяной струей, как людская масса раскололась и распалась на островки барахтающихся тел. В ее гуще образовались вдруг бреши, и туда-то, извиваясь по-змеиному и разлетаясь брызгами, устремились сильные струи воды.

Людская лавина, несшаяся по улице мне навстречу, готова была, подобно наводнению, снести все на своем пути. Я обхватил руками железный столб чьей-то веранды и крепко вцепился в него. Несколько женщин сделали то же самое. Толпа навалилась на нас, и мне стоило большого труда удержаться на месте.

В это время послышался звон разбиваемых стекол; это начали бить витрину универсального магазина «Левиафан». Вся мостовая была усеяна стеклом. В пробитые бреши устремились мужчины, они хватали и выкидывали на улицу меховые шубы, костюмы, женские платья. Женщины и мужчины кидались на добычу; прижимая к груди награбленное, они спешили скрыться.

Стеклянный сталактит, свисавший с верхнего края разбитого окна, оборвался, упал на человека, увешанного наворованным платьем, и разрезал ему щеку до кости. Человек схватился за лицо, сквозь растопыренные пальцы текла кровь, пачкая тыльную часть руки.

Женщины с бессмысленными взглядами и разинутыми ртами хватали все, что попадалось под руку. Мелочь они запихивали в сумки; кое-кто с вызывающим видом поглядывал вокруг — они были готовы на все, чтобы отстоять свое право завладеть валявшимися на улице вещами. Мужчины поднимали кисточки для бритья и безопасные бритвы и показывали окружающим, делая вид, что собираются положить их на место. Улучив минуту, когда им казалось, что никто за ними не наблюдает, они поспешно совали добычу в карман.

Каждый раз, когда разбивались витрины, слышались крики и вопли толпы, но они тонули в каких-то непонятных звуках, напоминавших лай гончей своры. Испуганные мужья стали подсаживать жен на крыши веранд. Женщины громоздились там как на насесте, свесив ноги, и со страхом и тревогой поглядывали на мужей, оставшихся внизу. Двое мужчин попытались подсадить и меня, но я не мог удержаться у них на плечах. Тогда они спустили меня на землю, и я снова вцепился в свой столб.

Толпа повернула на Берк-стрит; звон разбиваемых стекол не прекращался. Люди, стоявшие рядом со мной, уже пресытились впечатлениями. Они были явно напуганы тем, что произошло. На их лицах была тревога. Тревога была и в вопрошающих взглядах, которыми они обменивались. Ведь прошло так мало времени с той минуты, когда они ринулись на улицу, радуясь мнимой свободе; они ждали ярких приключений, столь чуждых их размеренной, однообразной жизни, а на деле оказались причастными к беспорядкам и бесчинствам. Да, они сочувствовали бастовавшим полицейским, но сейчас случилось что-то неладное. Сейчас они больше всего хотели отмежеваться от бушующей на Берк-стрит толпы, очутиться подальше от этой груды разбитого стекла.

— Нарушать деловую жизнь города — серьезное преступление, — сказал мне какой-то человек. — Что касается меня, то я просто шел по улице. — Он подумал с минуту и добавил: — Пройду за угол, посмотрю, что они там затеяли.

Я дошел вместе с ним до угла. На Берк-стрит прямо в канаве валялись часы и кольца, выброшенные из витрин ювелирных магазинов. На улице, чуть подальше, толпа все еще била стекла.

Я чувствовал себя обессиленным. Не помню, чтобы когда-нибудь прежде я испытывал такую усталость. Я медленно поплелся домой через Сады Фицроя, то и дело останавливаясь, чтобы перевести дыхание.

КНИГА ТРЕТЬЯ

ГЛАВА 1

В двадцатые годы Мельбурн очертя голову веселился, стремясь забыть лишения военного времени. Дни домашних вечеринок и пения под аккомпанемент рояля миновали, и молоденькие девушки, ускользнув из-под надзора бабушек и тетушек и проникнувшись духом времени, безудержно отдавались новому увлечению — танцам. Джаз покорял мир, фокстрот пришел на смену вальсу, в городе и пригородах одна за другой открывались новые танцевальные залы.

Самозванные учителя танцев открывали танцклассы, где молодежь, а также мужчины и дамы средних лет в повальном увлечении робко шаркали по паркету под звуки «Старина джаз» и «Суони», не отрывая глаз от своих заплетающихся ног.

Музыкальные комедии шли с аншлагом. Глэдис Монкриф и Мод Фэйн стали кумирами фабричных девчонок, видевших в них живое воплощение всего романтического и блистательного; их поклонницы — так называемые «девушки с галерки» стали создавать в честь своих кумиров специальные клубы; на каждой премьере с участием этих актрис они скупали целые ряды на самой верхотуре и, сидя там, бешено им аплодировали.

Бокс, которым заправлял Джон Рен, переживал полосу расцвета. Стадион не мог вместить всех желающих; целые толпы штурмовали окованные сталью ворота, воздвигнутые взамен деревянных, которые однажды нетерпеливые зрители разбили топорами. Афиши возвещали, что чемпион Австралии Берт Спарго — лучший в мире боксер в весе пера, и зрители, заполнявшие мельбурнский стадион, верили этому.

Затем появился Билли Грайм; встреча за встречей он одерживал победу над былым фаворитом, чья звезда медленно, но верно закатывалась, изрядно обогащая при этом владельцев стадиона.

Увлечение боксом сменилось увлечением классической борьбой. В Австралию начали прибывать из-за океана талантливые артисты — они великолепно играли свою роль перед взволнованными зрителями, и те верили, что искаженное болью лицо борца, в мнимом отчаянии колотящего кулаком по коврику, и в самом деле выражает муку и беспомощность.

Приподнятая атмосфера, царившая в местах развлечений, выплескивалась и на улицы. Праздничное волнение царившее за увитыми гирляндами мигающих электрических лампочек входами театров, стадионов и дансинге проникало наружу, и улицы города оказывались захлестнутыми безудержным весельем.

Мельбурнцы, распаляемые газетами, которые быстро научились раздувать это нервное напряжение, уже не довольствовались семейным уютом, а искали развлечений вне дома. Они сделались жертвами рекламы, пропагандировавшей ценности, которые были враждебны культуре, вере в высокие идеалы.

«Главное, не скупитесь — и вам обеспечена богатая, полнокровная жизнь, на которую дают нам право жертвы, понесенные в войне за свободу, в войне, которая велась я ради того, чтобы раз и навсегда покончить со всеми войнами» — таково было их кредо.

Охватившая страну лихорадка не миновала и меня. Каждый вечер улица звала меня, подобно тому как дансинги и театры манили моих ровесников. Я не искал знакомства с девушками, как поступил бы на моем месте я любой нормальный юноша. Я воспринял как непреложный факт, что ни одна девушка не может полюбить калеку.

Желание стать богатыми, раскатывать в автомобилях, появляется иногда и у бедняков, но они знают, что это пустые мечты, и обращаются к насущным вопросам. Невозможность разбогатеть не волнует их. Так же было и со мной, когда я видел молодых людей, отправляющихся с девушками в театр или на танцы. Я думал, — что ж, они богаты, а я беден.

Я отдался тем радостям жизни, которые были мне доступны. Я слушал, наблюдал, писал. Что мне больше оставалось? — ведь я еще был очень молод. Как бы то ни было в этом я нашел выход своим желаниям. Я ничего не читал: у меня не было денег на покупку книг, но сама жизнь стала для меня книгой, и я жадно читал ее, не вполне понимая содержание, но запоминая все до последнего слова навсегда.

Мои уличные знакомые интересовались боксом, футболом и скачками. Стал интересоваться ими и я. Надо было иметь хоть какое-то представление об этих видах спорта, иначе со многими не о чем было говорить. Я прочитывал в газетах все, что относилось к схваткам Спарго и Грайма, к розыгрышу Мельбурнского кубка, к футбольным матчам — сначала я читал только для того, чтобы быть в курсе дела и поддерживать разговор на эти темы, но постепенно спортивные состязания пробудили во мне настоящий, живой интерес.

Однако была еще одна причина, почему я так заинтересовался боксом.

Во время моих блужданий по городу я как-то набрел на торговца пирожками, стоявшего со своей тележкой на углу Элизабет-стрит и Флиндерс-стрит. Запряженный в тележку пони,

худой с пролысинами на тех местах, где выпирали кости, спокойно стоял и жевал, опустив голову в торбу; время от времени он встряхивал резким движением головы торбу, чтобы добыть просыпавшийся на дно овес. Стоял пони на трех ногах, давая отдохнуть четвертой. Ни звон трамвая, ни шум, ни крики не привлекали его внимания. Это был городской пони; вероятно, оп никогда не изведал радости пастись на лугу.

В тележке помещалась железная духовка с топкой, напоминавшая паровозик, только без колес и без будки Для машиниста. Топка находилась в задке тележки и была расположена так низко, что обдавала жаром ноги покупателей. На противоположном конце тележки торчала труба с медной крышкой, из нее подымалось облачко дыма и лениво стлалось над улицей. Металлический цилиндр, в который была вделана духовка и топка, опоясывали медные полосы.

По бокам этого сооружения шли две полки. На одной стояла бутыль с томатным соусом, вся в красных потеках; на другой — коробка с хлебцами. На железной решетке перед дверцей топки помещался чан с дымящимися сосисками. Духовка была набита пирожками.

Возле тележки спиной к огню стоял человек. Он был небольшого роста, плотный, с толстыми, изуродованными ушами, расплющенным носом. Темная задубелая кожа туго обтягивала лицо, шея была вся в складках, а узенький лоб не пересекала ни одна морщинка. Волосы у него были жесткие и густые, а глаза, словно для пущей безопасности, прятались где-то глубоко под нависшими бровями.

На нем был белый передник, тесемки его перекрещивались сзади и были тугим узлом завязаны на животе. Ворот его полосатой ситцевой рубашки был расстегнут. Рукава он закатывал выше локтя, выставляя напоказ толстые, волосатые руки и кулаки с расплющенными костяшками — результат многолетних занятий боксом.

Звали его «Драчун Дэвис», но он был больше известен под кличкой «Пирожник-боксер». Полиция знала его и под другими кличками, как видно позабытыми им самим, но сохранившимися в протоколах мелких судебных разбирательств.

Он регулярно выступал на стадионе, главным образом в предварительных схватках, открывавших матчи бокса. В этих схватках обычно выступали дебютанты, рассчитывавшие составить себе имя и получить возможность участвовать в серьезных матчах, суливших крупные денежные куши, либо матерые боксеры, которым так и не удалось прославиться на ринге. Платили им мало тридцать шиллингов за выступление, —

но требовали, чтобы дрались они как следует. Боксер, которого нокаутировали в первом же раунде, приносил своим хозяевам одни лишь убытки, — ведь в подобных случаях приходилось выпускать дополнительную пару боксеров, и это стоило денег.

Драчуна обычно выпускали именно в тех случаях, когда кто-нибудь из участников матча оказывался преждевременно нокаутированным. В субботние вечера он торговал у входа на стадион пирожками, и всякий раз, когда из-за тяжелых ворот доносился дикий рев зрителей, сопровождающий обычно нокаут, он снимал передник и отправлялся на стадион узнать, не пора ли ему выходить на ринг.

Завсегдатаи стадиона хорошо знали его. Его называли «львом отпущения». Он всегда доводил бой до конца, причем боксировал весьма энергично. За годы, что он отпал боксу — уличному и на ринге, — он постиг множество трюков, порой сомнительного свойства, позволявших ему выстоять в боях с более молодыми и сильными противниками. Он умел рассечь бровь противника шнуровкой своих перчаток, чтобы капающая кровь слепила тому глаза. Он прибегал и к недозволенным приемам, но делал это так искусно, что его никто никогда не обвинял в нечистой игре. Когда молодой, неопытный боксер прижимал его к канату, он защищал лицо, прикрывался локтем, а затем с презрительной усмешкой бросался в атаку и преследовал противника по пятам, как рассвирепевший бульдог.

После боя он, зачастую даже не смыв кровь с лица, возвращался к своей тележке и снова продавал пирожки своим постоянным покупателям, которые осыпали его поздравлениями и были очень довольны, что могут с видом знатока порассуждать о его победах. Все считали, что Драчун свой человек среди подонков мельбурнского общества, и знакомство с ним очень льстило иным почтенным, респектабельным людям, которые твердо верили, что их авторитет среди друзей возрастет оттого, что они смогут со знанием дела потолковать о жуликах и участниках уличных драк. Им достаточно было перекинуться словом с боксером, чтобы счесть себя специалистом по боксу, достаточно поздороваться с каким-нибудь бандитом, чтобы почувствовать себя причастным к преступному миру.

Они пересыпали речь уличными и спортивными терминами, и из-за этого речь их теряла свою естественность, становилась вычурной. Находясь в обществе приятелей, они приветливо здоровались с Драчуном, с гордостью представляли его как своего знакомца, однако тщательно избегали его, если вблизи находился полицейский.

— Кроме этих пирожков он и другие печет, — сказал мне о

нем один человек. — Если фараон заметил вас вместе с ним, он это запомнит.

Увидев Драчуна впервые, я остановился, прислушиваясь к его выкрикам: «Горячие пирожки, сосиски! Горячие пирожки! С пылу, с жару! Пирожки, сосиски!»

У него был пронзительный голос, который легко было расслышать сквозь уличный шум и гам, и все же он сливался с этим шумом, был от него неотделим. Этот голос как бы заявлял о живом присутствии человека на улице, заполненной грохотом и скрежетом машин.

Я подошел и стал рядом с ним спиной к огню.

— Как делишки? — спросил я его.

— Не плохо, — ответил он и, в свою очередь, спросил: — На выставку приехал?

— Нет, — сказал я. — С чего это ты взял?

Мои слова ему почему-то понравились. Мельбурнская сельскохозяйственная выставка, устраивавшаяся ежегодно в сентябре и длившаяся неделю, привлекала в город тысячи загорелых фермеров, которые с раннего утра толпились на улицах у входа в гостиницы и которых мельбурнцы называли «деревенскими простофилями».

Город приветливо встречал их — вид фермеров лишний раз подчеркивал его превосходство и разжигал аппетит. В магазинах росли цены, и разные пройдохи, вроде Драчуна, готовы были облапошить любого человека, который осматривался по сторонам или разглядывал, задрав голову, крыши домов. Драчун выслушал меня с улыбкой и задумался:

— Что верно, то верно — по тебе не скажешь, — сказал он наконец. — А ты чем промышляешь?

— Да так, просто околачиваюсь, — сказал я. Но затем, поддавшись желанию доказать, что и я кое-что собой представляю, добавил: — Я служу клерком. — И сразу же почувствовал, что мне с ним легко, как со старым приятелем. Затем я сказал: — А я знаю Стрелка Гарриса. Он, по-моему, говорил, что работал на тебя.

— Где ты встречал Стрелка Гарриса? — спросил он, и в его глазах загорелся интерес.

— В Уоллоби-крик. Он работал там в трактире.

— Верно, ему временно надо было исчезнуть с глаз полиции. Все время он на ходу. На месте не засиживается. Сейчас он снова у меня. Иногда по вечерам выходит с тележкой. Еще увидишься с ним.

Он поднял голову и прокричал:

— Кому пирожков, кому сосисок? — Затем снова заговорил со

мной: — А ты что там делал?

— Работал в канцелярии окружного Управления.

— На много монет нагрел тебя Стрелок Гаррис? Судя по выражению его глаз, он был в курсе дела.

— Да нет, не особенно — всего на несколько шиллингов, когда играли в карты. Он усмехнулся:

— Ты, наверно, не мастак по этой части.

— Это верно!

— Ну, а теперь как дела?

— Как и раньше — сижу на мели.

— Да, нелегко заставить этих подлецов раскошелиться. Сколько ни бьешься, все равно никогда гроша за душой нет.

Рядом с нами остановилась девушка с равнодушным, грубо размалеванным лицом и спросила:

— Обход сегодня кто делает, Кэссиди?

— Нет, — сказал Драчун, — можешь не бояться. Когда она ушла, он посмотрел ей вслед и заметил:

— Они этой Кэссиди из полиции как огня боятся. Только сунь какой-нибудь девчонке шиллинг, она тут же тебя засадит.

Бродячий люд подходил к тележке Драчуна передохнуть у огонька. Некоторые останавливались поговорить, или что-нибудь разузнать, или поделиться бедой, которую одиночество делает непереносимой.

Проститутки с Коллинз-стрит, не сумевшие заполучить до девяти часов клиента, подходили посплетничать; рабочие, возвращавшиеся с поздней смены, задерживались купить пирожок; завсегдатаи скачек и всякого рода «жучки» собирались здесь по пятницам вечером, чтобы раздобыть закулисные сведения о скаковых лошадях, детишки убегали от матерей, чтобы погладить пони; толстые, с опухшими от ревматизма ногами, уборщицы покупали пирожки, чтобы поужинать ими дома. Приходили сюда подзакусить и моряки со стоявших в порту судов. Ласкары с индийского парохода жевали хлебцы, греясь у печки; фермеры с потертыми чемоданами останавливались, чтобы справиться, как попасть на нужную улицу; мужчины, искавшие женщин, могли получить здесь необходимые сведения. Тут никогда не наступало затишье, жизнь не прекращалась ни на миг.

Тележку Драчуна можно было сравнить с ложей в театре, на сцене которого мужчины и женщины великолепно разыгрывали драматические роли, уготованные им судьбой и обстоятельствами. Они играли жизнь, свою жизнь. Трагедия смешивалась с комедией, подчас сливаясь, а затем приходя в столкновение, — и тогда, как при вспышке магния, было ясно видно, где кончается трагическое и начинается смешное.

В этой драме вы встречались с благородством и с самопожертвованием, с жадностью и с похотью. В ней не было логики и хромала режиссура, подчас она оставалась незаконченной. Но в основе ее, все оправдывая и возвышая, лежала правда. Это была увлекательнейшая драма, смысл которой можно было постичь, лишь находясь на подмостках. Только исполняя в ней какую-то роль, можно было понять, что предшествовало данной сцене, что последует за ней, — только в этом случае вы понимали, что эта сложная постановка отнюдь не нагромождение разрозненных эпизодов и что эпизоды эти все ближе подводят вас к пониманию главной темы — борьбе человека за лучшее будущее.

Участвовать в этом! Быть там! Боже, какой мне достался чудесный удел!

Драма разыгрывалась на фоне мерцающих огней, нарядных витрин, звенящих трамваев, дыма, стлавшегося над тележкой пирожника, ярко пылающей печурки, потока людей, идущих с вокзала и на вокзал.

Каждый вечер я стоял у тележки Драчуна, смотрел на представление драмы, участвовал в нем. Тележка с пирожками стала моим домом.

ГЛАВА 2

Было уже около девяти вечера, когда из здания вокзала вышел молодой человек; он держал в руке чемодан, перетянутый двумя ремнями. Поставив чемодан на обочину тротуара, он стал осматриваться. На нем был синий костюм из саржи, купленный несколько лет назад, когда нынешний владелец его был помоложе и потоньше. Теперь костюм был ему мал. Ни воротничка, ни галстука на молодом человеке не было.

Нетрудно было догадаться, что он приехал из провинции, и я был уверен, что он сейчас подойдет к тележке с пирожками и попросит рекомендовать ему место для ночлега.

Я не раз видел приезжих, которые, выйдя из вокзала, останавливались и осматривались подобно этому молодому человеку. Все это были провинциалы, не имевшие родственников в городе. Часто их поездка в Мельбурн была вызвана болезнью кого-то из членов семьи, и они приезжали в город, не заказав себе предварительно номер в гостинице.

Я легко мог вообразить, как, готовясь к поездке, они толковали между собой: поедем всего на несколько дней и остановимся в гостинице — там ты сможешь показаться хорошему врачу. И обойдется это недорого.

Гостиница в их представлении была похожа на ту, где они останавливались, когда ездили на еженедельную ярмарку в ближний городок. Когда они обсуждали предстоящую поездку у себя в зарослях, Мельбурн не казался им таким уж большим. Но когда они выходили из вокзала — размеры города приводили их в изумление. Городской шум оглушал их. Высокие здания и улицы, заполненные оживленной толпой, пугали. Прохожие спешили мимо них, не удостаивая взглядом. Все вокруг было странно и необычно, и они чувствовали себя потерянными. И вот в эту минуту в поле их зрения попадала тележка с пирожками.

— Давай-ка спросим его, — вероятно, говорил приезжий своим спутникам, и, спотыкаясь под тяжестью чемоданов и со страхом посматривая на проносящиеся мимо автомобили и звенящие трамваи, они пересекали улицу.

Я говорил со многими из них. Они неизменно вызывали у меня чувство жалости. Драчун никогда не проявлял интереса к тем, кто приезжал с женой. Такой человек уже не был беззащитным. Драчуна интересовал лишь одинокий провинциал. Он таил в себе немало возможностей; прежде всего, у него обычно водились деньги. Приезжие парочки Драчун предоставлял мне; я знал, какая гостиница им нужна, и направлял их по

соответствующему адресу.

Молодой человек, о котором шла речь выше, несколько минут осматривался, прежде чем перейти улицу. Затем он купил пирожок у Драчуна, который решил, что это обыкновенный работяга и внимания не заслуживает. Стоя рядом со мной, приезжий жевал пирожок, видимо раздумывая, что ему делать дальше.

— Надолго к нам? — спросил я.

— Сам не знаю, — ответил он. — Хотел бы, черт возьми, поскорей выбраться отсюда.

— А чем занимаешься?

— На лесопилке работаю. Около Мэрисвилля.

Слово «Мэрисвилль» неизменно навевало мне воспоминание о ясеневых рощах, о деревьях с верхушками, уходящими в туманную высь, с мощными стволами, вдоль которых полосками свисает кора.

— Здоровые там деревья, — заметил я.

— Подходящие, — согласился он. — Иное вымахает в сто восемьдесят футов, без единой ветки. Сам понимаешь, что такое бревно больше ста футов в длину. Красота! Да они все там такие.

— Ты — рубщик?

— Нет, пильщик. Распиливаем бревна. Работал на спаренной пиле, и в ней стало что-то заедать. Сейчас на время отлучки меня подменил приятель, и я чего-то опасаюсь. Надеюсь, что он наладил пилу, а то, если она перегреется, дело плохо. Я говорил ему, но это такой парень, что у него хоть кол на голове теши.

Он еще немного поговорил о своих товарищах по работе, но видно было, что его что-то тревожит.

— Я, собственно, доктора повидать приехал, — неожиданно сказал он. Неделя уж, как со мной что-то стряслось.

— А что такое? — спросил я.

— Подцепил от девчонки, с которой гулял. Так-то она ничего, я на нее не в обиде, только кто-то ее наделил, а она меня.

— Не повезло тебе, — сказал я. — Надо поскорее показаться доктору, нельзя это запускать.

— Я тоже так думаю. Один дружок мне сказал: раздобудь раствор селитры через две недели будешь здоров, как новорожденный младенец. Но попробуй достань* что-нибудь в зарослях. А другой парень — он когда-то сам подцепил посоветовал мне пить скипидар с сахарной водой. Черт возьми, не знаешь, что и придумать. А еще один сказал, что лучше всего свинцовая мазь. Я бы рад был, да где ее возьмешь? Когда все это со мной стряслось, решил поехать в город. С такой хворобой много не наработаешь. Вообще-то я никогда не унываю, но ведь

неладно получается: сам ты здесь, а ребята там. И нелегко им приходится — в этом-то вея беда. А самый мой верный дружок — Дон, у нас все пополам. Если бы я оказался безработным, а он нет, то половину получки он отдал бы мне. Я знаю его с малых лет. Всегда вместе были. А сейчас он за меня отдувается. Это не по правилам. Хотя он-то знает, что я не виноват. Вот чертовщина. Он постоял с минуту, рассматривая улицу.

— Я знал одного парня, так он трижды переболел. Ну, я-то уж больше не подцеплю, шутишь! Он поднял чемодан.

— Надо идти. На Берк-стрит должна быть гостиница. Дон как-то ночевал там.

— Всего, — сказал я. — Желаю удачи.

— Всего.

Я провожал его взглядом, пока он переходил улицу.

— На что он плачется? — спросил Драчун.

— Подцепил болячку.

— Ты сказал ему, чтобы он пошел в клинику?

— Нет, а разве надо было послать его в клинику?

— А как же? Говори всем, чтобы шли в клинику. Ведь не проходит и вечера, чтобы какой-нибудь малый не пристал с расспросами, как избавиться от такой болячки. В Мельбурне ими хоть пруд пруди. А тот малый, с кем ты говорил, не похож на других. Каждому готов разболтать. Городские парни — те никогда не выставляют напоказ, прячутся, как фараон, которому подбили глаз. С ними ты поделикатней — очень уж обидчивы.

Так, стоя у тележки с пирожками, я обогащался опытом. Я узнал, что гонорея — это болезнь молодежи, болезнь юных повес и гуляк. Страх подхватить эту болезнь преследовал их, как дикий зверь, затаившийся в дебрях их сексуальных влечений. Они говорили о ней часто и наигранно презрительным тоном, с усмешкой отрицая ее опасность. Иные, боясь взглянуть правде в глаза, хвастались своей болезнью, несли ее как флаг, как символ своих успехов, своей мужской силы. Таким казалось, что это утверждает за ними репутацию людей, видавших виды, прошедших огонь и воду, ставит их выше тех, кто с неуверенностью и сомнением относится к «романам», из-за которых можно подцепить болезнь.

Я терпеть не мог хулиганов, бродивших по улицам целыми шайками. На окраинах они чувствовали себя как дома. В городе же растворялись в общей массе, теряли свое лицо и свою силу.

У всех у них была своя причина, почему они стали такими: распавшаяся семья, пьяница отец, окружающая обстановка, — все это заставляло их искать опоры в шайках, где верность друг другу и своей шайке была незыблемым законом.

Дома никто не относился к ним с уважением. Родители смотрели на них как на детей и обращались с ними соответственно. Отец обычно кричал на своих отпрысков, требуя повиновения, пытаясь таким образом утвердить свой авторитет перед лицом назревающего недовольства, сначала робкого и пассивного, затем все более открытого и дерзкого, постепенно переходящего в бунт.

Подрастающая молодежь нуждалась в уважении. Она хотела, чтобы к ее мнению прислушивались, чтобы с чуткостью подходили к волнующим ее вопросам, чтобы ею восхищались, чтобы ее хвалили, относились к ней с некоторой долей почтения.

Дома ничего подобного и в помине нет, а в шайке можно этого добиться, если ты достаточно груб, силен, задирист. И подростки старались стать такими. Когда твое имя попадало в газеты после мелкой кражи или какой-нибудь хулиганской выходки, вся шайка шумно тебя приветствовала. Ты становился персоной. Ты мог задирать нос, требовать и добиваться послушания. Эти подростки развивали в себе лишь те качества, которые развить было проще всего.

Соблазнить девушку — означало возвыситься во мнении шайки. Парни только и говорили что о «девчонках», о «девках» и вели на них настоящую и жестокую охоту.

Жалкого вида девушки, всегда державшиеся парами и не выходившие из танцевальных залов, становились разносчицами болезни, которую они заполучили от какого-нибудь молодого щеголя. Узнав, что девушка, с которой они были в связи, заразилась, парни старательно избегали ее, и ей волей-неволей приходилось искать себе компанию в других залах, где ее не знали. Девушки эти не были проститутками. Просто они были достойными партнершами охотившихся за ними парней.

Те немногие хулиганы, с которыми я был знаком, смотрели на меня как на человека далекого и чуждого их миру, неспособного, хотя бы из-за своего физического недостатка, следовать их образу жизни. Они меня не уважали и не любили, питая ко мне лишь плохо скрываемое презрение. В своей оценке людей они руководствовались не разумом, а чувством и могли без всякого повода обрушиться с грубейшей бранью на первого встречного беззащитного человека.

Когда группа хулиганов приближалась к тележке с пирожками, я застывал на месте, с озлоблением ожидая оскорбительных намеков. При первом же обидном слове я подходил к ним поближе и отчитывал их с таким чувством уверенности в своих силах, обличал их с таким красноречием, что они обычно отступали.

То, что я не хотел сносить обиды, нравилось Драчуну, и он иной раз подзадоривал меня веселыми выкриками: «А ну-ка наподдай им!»

Присутствие Драчуна служило мне защитой. Хулиганы боялись его. Он был известен. Его имя встречалось в газетах. Он был силачом. Он был фигурой. Он был тем, чем они хотели бы стать. Одного его резкого слова было достаточно, чтобы они пустились наутек.

При встрече с проституткой эти парни испытывали неловкость и держались с ней почтительно. Проститутки не удостаивали их вниманием. Их основную клиентуру составляли женатые мужчины, а эти молодые наглые шалопаи только раздражали их.

— Проваливай отсюда, молокосос, тебе давно уже пора в колыбельку, огрызнулась одна из них, когда какой-то развязный паренек, пытаясь произвести впечатление на своих приятелей, заговорил с ней фамильярным тоном.

Совсем по-иному держались эти женщины с возможными клиентами. Приветливы они не бывали ни с кем, но к немолодым мужчинам, в чьих карманах водились деньги, обращавшимся к ним негромким сдержанным голосом, они проявляли известное внимание. Но не более того. Они смотрели на своих клиентов пристальным, оценивающим взглядом и, используя все свое знание мужчин, быстро соображали, как отнестись к сделанному им робкому предложению. За несколько мгновений они умудрялись определить положение обратившегося к ним мужчины, его опыт в обхождении с женщинами такого сорта, его денежные средства, наконец, выяснить, нет ли у него каких-либо порочных наклонностей и извращений.

Если они с кем-то заговаривали, то обычно только с мужчинами, ищущими проститутку, — уговаривать их не приходилось. Это были по преимуществу приезжие из провинции. Промаявшись довольно долго на уличных перекрестках, рассматривая проходящих мимо женщин, они в конце концов оказывались около тележки с пирожками. Драчун с первого взгляда определял их. Они еще не успевали рта раскрыть, а он уже знал, что им требуется.

Большинству из них Драчун советовал поболтаться у тележки с пирожками до девяти часов — в это время женщины, оставшиеся без клиентов, обычно приходили с Коллинз-стрит, чтобы узнать, не залучил ли пирожник для них какого-нибудь мужчину. За свои услуги он не получал никакого вознаграждения. «Котом» он не был.

Мужчины менялись, но у всех — так мне казалось — было

что-то общее: их грызла тайная неудовлетворенность. Они считали, что везет всегда кому-то другому, только не им. Все они, должно быть, бежали на несколько дней из дома, где любовь умерла, туда, где продавался ее заменитель.

Но был один тип мужчин, к которым Драчун присматривался с особенным вниманием, прикидывая в уме возможные выгоды от знакомства с ними. Это были богатые бездельники, хвастуны, еле державшиеся на ногах после очередной попойки и размахивавшие пачками банкнот, которые они привезли из провинции, где у них была своя ферма или лавка. Все они были люди женатые и все непременно задавали один и тот же вопрос: «Не знаешь, где можно найти женщину?»

Как раз теперь по улице шел такого рода тип, и Драчун не спускал с него глаз, отмечая про себя неверную походку и ширину его плеч. Он каким-то чутьем узнавал, храбрый ли перед ним человек, способен ли пустить кулаки в ход. На этот раз перед ним явно был трус.

Я не слышал их разговора, но догадался, что человек этот чем-то хвастается. Он помахал пачкой денег, и я понял, что ему нужно.

Немного погодя Драчун снял передник и повесил его на ручку тележки. Обратившись ко мне, он сказал:

— Пригляди за тележкой, а я немного прогуляюсь с этим парнем. — Он окинул взглядом мой костюм, взял передник и повязал его мне. — Так не запачкаешься, будешь о него вытирать руки.

— Ты надолго? — спросил я, рассматривая передник, придававший мйе довольно-таки нелепый вид.

— Нет, на часок, не больше.

— Черт! — воскликнул я в тревоге. — Так долго! Как же я тут управлюсь?

— Ничего, управишься.

Он зашагал по Флиндерс-стрит, немного опередив того мужчину, делая вид, что не имеет к нему никакого отношения. Он старался не бросаться в глаза, весь сжался, чтобы быть как можно неприметнее, а сам внимательно поглядывал по сторонам, чтобы удостовериться, что его не видит никто из знакомых. Ведь если приметят, то и запомнят. Прежде чем рука полицейского ляжет вам на плечо, надо, чтобы кто-то вас приметил и запомнил. С этого все и начинается.

Спутник Драчуна выпрямился и поправил галстук. Мысль о жене, по-видимому, неотступно преследовала его, и он всячески старался показать, что угрызения совести ничуть его не тревожат.

Драчун часто оставлял меня присматривать за тележкой,

когда ему нужно было перемолвиться с кем-нибудь словом наедине в дверях какой-нибудь лавки, но такие встречи отнимали у него обычно несколько минут. Никогда еще он не оставлял свою тележку на мое попечение на целый час. Я решил, что он повел своего спутника на Литтл Лонсдэйл-стрит, только мне показалось странным, что он отправился с ним сам, вместо того чтобы предложить подождать у тележки, пока он приведет женщину.

Я усердно занялся продажей пирожков. Постоянных покупателей я знал и с удовольствием слушал их замечания насчет моей новой роли.

— Ну, Боб, сегодня томатного соуса нам достанется вдоволь — на посту Алан, — сказал один рабочий своему приятелю, а затем, обращаясь ко мне, добавил: — А ну поливай веселей, не будь таким скупердяем, как Драчун; промочи пирожки как следует.

Я щедро поливал соусом пирожки, которые мне протягивали покупатели.

— Вот так дела, — восклицал рабочий, — смотри, ты все кругом залил, черт бы тебя подрал, но ничего — продолжай в том же духе.

— Горячие пирожки и сосиски! — кричал я, смущенно подражая голосу Драчуна, решив, что уж если играть роль, то до конца.

— И соусу не пожалеем, — присоединился ко мне рабочий, оторвавшись от своего пирожка, с лицом перемазанным красным.

То, что и он участвует в продаже, доставило ему большую радость; согнувшись в три погибели над своим пирожком, он просто давился от смеха.

— И в каждом пирожке запечена мышь, — гаркнул его приятель, охваченный таким же порывом веселья.

Шутка эта привела их в восторг. Теперь уже оба покатывались со смеху. Они так и ушли, громко хохоча.

Когда Драчун вернулся, я передал ему передник и выручку, заметив при этом:

— Чего-чего, а соусу я не пожалел.

— Ладно! — сказал он, повязываясь передником и разглаживая складки.

Он подошел к огню, выпрямился и начал громко выкрикивать свое обычное «Горячие пирожки и сосиски», но мне показалось, что интонация его слегка изменилась с той минуты, как он ушел с незнакомцем. Голос звучал несколько по-иному, словно он испытывал облегчение оттого, что снова может торговать, словно эти выкрики переносили его из одной жизни в другую. Они как бы подтверждали его положение уличного торговца, освобождая

от ответственности за поступки, совершенные в той, другой жизни.

Выкрикнув несколько раз, он улыбнулся, чувствуя, что снова утвердился в своей почтенной профессии — продавца пирожков — занятии, пользовавшемся уважением даже полиции.

Затем он принялся внимательно рассматривать свои руки, сжимая и разжимая пальцы. Опустил руку в карман, вытащил, озираясь по сторонам, пачку денег, поднес ее к печной дверце и внимательно посмотрел, склонив набок голову.

— Где ты оставил того пария? — спросил я, охваченный внезапной тревогой.

— Лежит себе под вязом в Садах Фицроя.

— О, господи, — крикнул я в испуге.

— Ничего с ним не случится; походит пару дней с подбитой челюстью, только и всего.

— Что?.. Как же это?.. Ты взял у него деньги? — Я почувствовал, как все во мне похолодело.

— Да, я думал, что у него их больше. Каких-то несчастных двенадцать монет.

— Он приведет фараонов, — крикнул я, охваченный паническим страхом. Сейчас они явятся.

Драчун посмотрел на меня с невозмутимым видом:

— Женатый никогда не пойдет в полицию.

Я хотел возразить ему: «Разве можно быть уверенным», — но в душе знал, что он прав.

Он понял по выражению моего лица, что я встревожен, и сказал:

— Выкинь это из головы. Если бы я не взял у него деньги, это сделала бы первая шлюха, за которой бы он увязался, обобрать такого пара пустяков. Самый обыкновенный лоботряс; подцепит где-нибудь болячку и наградит ею свою хозяйку. Тут хоть приедет домой чистеньким…

Я хотел что-то заметить по поводу сказанного Драчуном, но он прервал меня:

— А вот и она. — Его грубое лицо смягчилось, горькие морщины слегка разгладились, его словно подменили. Он выпрямился, будто желая выразить кому-то свое уважение и признательность.

То же самое произошло и со мной, потому что я разделял его чувства к маленькой девочке, подходившей к нам. Она была в школьной форме и держалась за руку матери. Ей можно было дать лет восемь; у нее были каштановые волосы и черные глаза, и, подходя к нам, она улыбалась в радостном предчувствии.

Мир, открывавшийся ей, она наделяла теми качествами,

которыми обладала сама, так что он становимся как бы ее чудесным отражением. Под ее взглядом все предметы словно озарялись невидимым светом, и, смотря на них, она начинала сиять, даже не догадываясь, что сама является источником их очарования.

Я был уверен, что она пришла к нам из мира книг, музыки и хороших людей, из мира, где все любят и уважают друг друга и где никому не приходится вести непрерывную борьбу за жалкое существование, за то, чтобы тебя не засосала мутная тина.

Мать ее, стройная, нарядная женщина, улыбалась нам без тени пренебрежения. Каждый четверг вечером она вместе с дочерью проходила мимо нашей тележки, и мы всегда с нетерпением ждали ее появления. Не знаю, чем это объяснить, но после их ухода мы становились добрее друг к другу и к окружающим.

Драчун говорил мне, что однажды после их посещения он дал взаймы целый фунт «самому большому мерзавцу» во всем Мельбурне.

— Но нет худа без добра. С той поры я его ни разу не видел.

И вот они появились; девочка нетерпеливо тянула мать за руку.

— Добрый вечер, — женщина остановилась, поздоровалась с нами кивком головы. — А вы думали, что мы уж не придем? — Придерживая одной рукой пакеты с покупками, она пыталась расстегнуть дорогую сумку из черной кожи.

— Мы были уверены, что вы придете, — сказал Драчун и, обращаясь к девочке, добавил: — Он весь вечер ждал вас, мисс.

— Неужели? — воскликнула она, искрение обрадованная, не сомневаясь, что он говорит правду.

Мать сунула руку в сумку, вытащила оттуда морковку и дала ее прыгавшей от нетерпения девочке.

— Возьми!

Девочка подбежала к пони, который стоял, повернув к ней голову, и ждал. Мягкими губами пони взял у нее из рук морковку и стал ее пережевывать. Девочка же стояла, наклонившись вперед, уперев руки в колени, и не спускала с него восхищенного взора.

Эту сцену мне доводилось видеть довольно часто, и всякий раз на глаза у меня наворачивались слезы.

ГЛАВА 3

Лошади в моем представлении всегда связывались с сельской местностью. Они для меня были неотделимы от зарослей. Для бешеной скачки с летящими по ветру гривами и хвостами нужны были необозримые просторы выгулов, деревья в отдалении, облака, плывущие по голубому небу; в такие минуты казалось, что у них вырастают крылья. Выносливость и мощь этих животных могла проявиться по-настоящему, только когда их впрягали в плуг или жатвенную машину, когда они тянули воз, нагруженный сеном.

Что же касается городских лошадей, перевозивших подводы с землей, вырытой экскаватором, извозчичьих кляч с распухшими от непрерывного бега по мостовой бабками, битюгов, тащивших ящики с пивом, лошадок, впряженных в тележки булочников, упитанных муниципальных коней, свозивших на свалку мусор со всего города, то все они — казалось мне — отбывали срок каторжных работ.

Впрочем, этих узников становилось все меньше. Их заменяли грузовики и автомобили. На земляных работах на Лонсдэйл-стрит, где строился огромный универсальный магазин Манера, для вывозки грунта впервые использовались грузовики; ломовые лошади и ломовые извозчики навсегда исчезали со строительных площадок.

Иногда деревянный настил, опущенный с улицы на дно котлована, оказывался слишком крутым для перегруженной машины, и мотор ее, пофыркав немного, умолкал. Тогда к передку грузовика с помощью цепей припрягали ломовую лошадь. Снова ревел мотор, лошадь сначала скользила подковами, затем нащупывала опору, напрягалась, и грузовик начинал медленно ползти вверх, по настилу и выкатывался на улицу; там тяжело дышавшую взмыленную лошадь распрягали и снова вели на дно котлована — помогать строить город, в котором ей пе будет места.

Я ставил себя на место городских лошадей, и мне казалось, что они испытывают те же желания, что и я, то же чувство поражения. Какие преступления совершил я они, чтобы быть осужденными на эти муки? А какие преступления совершил я?

Двери моей тюрьмы не были заперты. Каждую субботу я мог бежать за город и там, среди деревьев и птиц, вновь обретал духовные силы, которые помогали мне сносить тяготы городской жизни.

Нередко, беседуя с людьми, собиравшимися у тележки с

пирожками, я делал попытку завести разговор о прелести зарослей. Мне хотелось рассказать о том, как хорошо бывает там рано поутру, когда трава подернута инеем, о том, как вкусны подаваемые к завтраку сливки, о том, как уютно бывает вечером, когда пламя больших поленьев согревает освещенные керосиновой лампой комнаты.

Но все это мало интересовало людей, сходившихся по вечерам у тележки. Да, их интересовали лошади, но только скаковые. В лошади они видели животное, открывавшее перед ними широкие возможности разбогатеть; стоило только упомянуть о лошадях, и сразу же начинались бесконечные рассуждения и догадки о том, кто придет первым на скачках в следующую субботу.

В пятницу вечером возле тележки обычно встречались завсегдатаи скачек и «жучки» — люди, собирающие сведения о лошадях и жокеях. В темном подъезде одного из домов стоял букмекер, устанавливавший начальные ставки пари; каждые несколько минут он выходил, прохаживался по улице и снова возвращался в подъезд, где с деловым видом записывал что-то в блокнот и быстро прятал деньги в карман, обмениваясь отрывочными фразами с теми, кто делал ставки.

— Он вроде Руби, — сказал мне как-то Драчун, имея в виду знакомую нам проститутку с Коллинз-стрит, — всегда на ходу. На фараонов у него чутье, как у собаки. Взгляни-ка на него повнимательнее.

Этот букмекер носил дорогой костюм и начищенные до блеска ботинки. Его упитанное туловище можно было изобразить в виде кривой, которая начиналась от самой шеи и затем, обрисовав сытый живот, резко загибалась к ногам. Лицо у него всегда было красное, словно он запыхался от бега, — он то и дело отрывал взгляд от своих записей и озирался как пугливое животное на водопое.

«Жучки» были люди продувные. Они щеголяли в ботинках с острыми носами и в узких костюмах. Один из них имел обыкновение, греясь у тележки с пирожками, чистить ногти. Он часто рассматривал свои руки, тонкие и нежные, как у женщины. У него был глаз на простачков, приезжавших на скачки из деревни; он выработал специальный подход к ним, завязывая как бы случайно разговор об урожае и погоде. Начинал он его какой-нибудь общей фразой. Так, он часто говорил: «Хороший дождик нам бы не помешал», — слова эти носили совершенно отвлеченный характер, ибо он нередко говорил их и в дождливую погоду, но они создавали впечатление, будто он знает толк в деревенских делах.

Его подход к горожанам был более тонким. Он намекал, что связан давней дружбой кое с кем из владельцев крупных скаковых конюшен и может, следовательно, дать ценный совет. Это производило впечатление на людей, жаждущий денег, у которых игра на скачках стала своего рода недугом. Вообще-то говоря, они относились ко всему с подозрительностью, но тут алчность побеждала осторожность и лишала их разума.

Иногда он делал вид, что ищет компаньона, чтобы рискнуть «на пару». Однажды я был свидетелем того, как он обрабатывал молодого человека, только что рассказавшего мне, что он уже был на скачках на прошлой неделе и два раза выиграл.

— Как же у вас сложились дела в прошлую субботу? — спросил его «жучок».

— Недурно, — ответил молодой человек; на нем был красный шелковый галстук и рыжие ботинки. — Я поставил на Родена и Вампира, и все было хорошо, но затем я поставил на Бродягу.

«Жучок» презрительно хмыкнул:

— На Бродягу! Кто же вам это посоветовал?

— Видите ли, — сказал молодой человек, готовясь отстаивать свой выбор. — Я считал, что у него есть шанс. Он был фаворитом на предыдущей неделе, но остался без места. В субботу на него много ставили. Чего вы еще хотите?

«Жучок» дал понять, что считает бесполезным просвещать новичка насчет того, как распознавать фаворитов на скачках. Он отвернулся, и сделал это так резко, словно вдруг понял, что перед ним чистейший воды простак, грудной младенец, которого разве что ленивый не облапошит.

Затем он минуту помолчал и произнес в раздумье, словно занятый своими делами:

— А я в, прошлую пятницу пятьдесят фунтов выиграл, а за неделю до того — двести.

— Чистыми? Не может быть, — с завистью воскликнул молодой человек.

«Жучок» снова удостоил его взглядом, на этот раз дружеским, он посмотрел на него как на малого ребенка.

— Если быть в курсе дела, — сказал он, — никогда не проиграешь.

Молодой человек уставился в землю. На него явно подействовали эти слова, показавшиеся ему неоспоримой истиной, до которой он сам раньше почему-то не додумался.

— Да, — продолжал «жучок», снова увлекшись разглядыванием своих ногтей, — один дружок сообщает мне все сведения. Я его как раз сегодня увижу. — Он посмотрел на часы, затем бросил взгляд на молодого человека. — А вы откуда родом

будете?

— Из Южного Мельбурна.

— Сам я из Англии, — солгал «жучок», полагая, что такого рода заявление свидетельствует о его честности. — Приехал не так давно. Обучался там. Сразу как приехал, стал играть, и очень удачно. Удалось связаться с нужными людьми. Но что-то мой дружок запаздывает. Он мне сегодня звонил по телефону — обещал «вернячка».

— А что это за лошадь?

— Я еще не знаю. Он знаком с тренером, так что дело верное. Мне-то он скажет. А так, если это раззвонить, то сумма выплаты сильно уменьшится. Они сегодня посылают шифрованную телеграмму владельцу лошади. Все уже заметано, будьте уверены. На скачках играть вслепую нельзя — это ведь вопрос больших денег.

— А вы не могли бы принять меня в долю? — попросил молодой человек.

— Право, не знаю, — с сомнением произнес «жучок». — Все дело в моем друге. Если я проболтаюсь, он никогда больше мне ничего не скажет.

— Я умею держать язык за зубами.

— В этом-то я уверен, — поспешил успокоить его «жучок». — Это сразу видно. Но… я, право, не знаю…

Он подумал с минуту, затем, словно приняв важное решение, твердо сказал:

— Знаете что, давайте пропустим сегодняшний день. Я встречусь здесь с вами в следующую пятницу и посоветую, на что поставить. Может, это будет менее прибыльно, чем сегодняшнее дельце, но тряхнуть мошной вы сможете.

Молодой человек понял, что от него хотят отделаться как раз тогда, когда представился случай подработать. До следующей пятницы далеко. Отказ «жучка» казался лучшим подтверждением его честности.

— Послушайте, — сказал он, стараясь говорить как можно спокойнее, можете мне поверить, я никому не разболтаю. Поставлю пятерку — только и всего. Это никак не повлияет на выплату. Стукните мне, когда ваш друг вам скажет.

— Право, не знаю, — повторил «жучок», теребя словно в раздумье нижнюю губу. — Во всяком случае, будьте поблизости. А вот и мой друг, — добавил он.

Я уже раньше замечал, что когда он начинал теребить нижнюю губу, сразу же появлялся этот человек. Он был плотного сложения, широкоплечий и ходил всегда засунув руки в карманы дождевика. Лицо его было непроницаемо; казалось, он начисто

лишен способности улыбаться. Он давно примелькался мне — каждую пятницу вечером он околачивался поблизости от нашей тележки с пирожками, — и я знал, что он работает в паре с «жучком». Обычно он прогуливался по тротуару, поджидая знака, чтобы, подобно актеру, выйти на сцену.

«Жучок» пошел ему навстречу, и они остановились поодаль, разговаривая между собой. Немного погодя они повысили голоса так, что молодой человек, не сводивший с них глаз, мог слышать, о чем идет речь.

— Я говорю тебе — это мой друг, — распинался «жучок», — ручаюсь, что он никому не разболтает.

Они еще долго спорили, пока приятель «жучка» не стал уступать позиций. Внезапно он сдался, и «жучок» вручил ему пачку ассигнаций по десять фунтов, которые он сразу же принялся пересчитывать.

— Сто пятьдесят пять монет, — сказал он, щелкнув последней ассигнацией. — Лишняя пятерка тут. — Он заговорил доверительным тоном. — Самое большое, на что я рассчитываю, это — получить двадцать за один. Сейчас пойду в клуб и внесу деньги. Будь здесь завтра в восемь вечера, и я с тобой рассчитаюсь.

— Буду, — сказал «жучок».

Он проводил своего партнера взглядом и возвратился к молодому человеку.

— Ну, с вами все в порядке, — произнес он с довольным видом. — Я поставил пятерку за вас. Пришлось-таки попотеть, но зато завтра у вас будет сто монет.

— Спасибо, — выразил свою признательность молодой человек. Он извлек из кармана пятифунтовую ассигнацию и передал ее «жучку», однако, когда увидел, с какой поспешностью, словно с опаской, тот прячет ее в карман, почувствовал сомнение.

— А вы меня не обманете? — спросил он с натянутой улыбкой.

— Да ну, что вы? Не болтайте глупостей, — воскликнул «жучок» таким изумленным тоном и глядя на него такими невинными глазами, что молодой человек тут же устыдился своего недоверия.

Они обсудили стати лошади, кличку которой назвал «жучок», и условились встретиться завтра вечером, чтобы поделить выигрыш. «Жучку» явно не терпелось расстаться с молодым человеком. Он так и шарил глазами в поисках новой жертвы и вскоре ушел.

Драчун наблюдал за ним с равнодушным видом. Я подошел и стал рядом.

— Чистая работа, — сказал я с усмешкой, заставившей Драчуна пристально посмотреть на меня.

— Этот парень дешево отделался, — сказал он. — Ты еще не то здесь увидишь. Но ничего, вся эта пакость стоит того, чтобы на нее поглядеть.

Драчуна скачки не интересовали. Правда, то, что у него был свой пони, вызывало у него известный интерес к лошадям, и он всегда внимательно слушал мои рассказы о них, а также и о птицах и животных, которых я видел в зарослях. Я привез ему однажды лесную орхидею. Он долго держал ее в руке, разглядывая, но так и не сказал ни слова, однако я заметил, что он ее сохранил.

Он ко всему относился с подозрением, и сначала ему казалось, что, заговаривая с ним о таких вещах, я преследую какие-то свои цели. Когда я говорил с ним, он внимательно изучал меня, но интересовали его вовсе не мои мысли или наблюдения — просто он надеялся найти в моих словах ключ, с помощью которого можно было бы разгадать меня. Его интересовало не то, что я рассказываю, а почему я это рассказываю.

Но я не отступал. Мне необходим был слушатель, чтобы сохранить в своей душе то, что было мне особенно дорого, — и Драчуну не было от меня пощады. Мне очень не хватало общества детей; не хватало аудитории, которая неизменно заставляла меня испытывать подъем духа и горячее желание рисовать мир таким, каким видела его она. Я знал, что от Драчуна мне никогда не дождаться такого отклика, но все же он меня слушал. По какой причине — над этим я не задумывался. Достаточно с меня было и того, что я мог высказать все, что хотел.

И вот однажды произошел случай, после которого он изменился и стал проявлять настоящий интерес к моим рассказам о зарослях и о жизни.

По улице шли, пошатываясь, два матроса. Они были молоды, под хмельком, и море им было по колено. Они заигрывали со встречными девушками и задирали их кавалеров. Они крепко держались друг за друга — не только ради опоры, в которой, впрочем, оба нуждались, но потому, что их соединяли крепчайшие в мире узы — узы слабости, в равной степени свойственной обоим.

Они возвращались на свой корабль, где переполнявшее их чувство свободы от всякой ответственности вскоре должно было исчезнуть пред лицом суровых правил корабельного устава. Но пока что они решили позабыть и об излишествах этого дня, и о мрачных предчувствиях и выкинуть напоследок какую-нибудь

вовсе уж отчаянную штуку.

— Почем твои пирожки? — спросил один из них у Драчуна.

— Четыре пенса, — ответил тот.

— Знаешь, что ты можешь с ними сделать, — произнес тогда матрос с мрачной решимостью, которую он попытался извлечь из дебрей своего угасающего сознания и продемонстрировать всему миру. — Можешь запихать их… знаешь куда?

Облегчив таким образом душу, он решил отдаться во власть поглощенного за день пива; громко захохотал, покачнулся и поволок глядевшего на него восхищенным взором приятеля вдоль по улице, хвастливо восклицая:

— Я им покажу! Всему свету покажу. Черт меня побери, если я этого не сделаю. Слышишь? Это я сказал! Со всеми расправлюсь. Проклятые грабители… Четыре пенса за пирожок! Он что думает… что он — адмирал всего флота, что ли, черт его подери!

Сначала Драчун никак не ответил на оскорбительный выпад матроса. Он стоял не двигаясь, лицо его оставалось спокойным. Но когда до него дошел смысл сказанного, он повернулся и с изумлением посмотрел на меня. Затем он снова обернулся и, стиснув зубы и сжав кулаки, уставился на моряков, которые неверным шагом брели по улице.

— Что… — начал он, затем перевел дыхание и разжал кулаки, но взгляда с них так и не спускал.

Напротив вокзала, на другой стороне улицы расположилась еще одна тележка с пирожками; с ее владельцем Драчун был в дружеских отношениях, хотя и считал его «бабой и сукиным сыном». Я думаю, что подобное суждение основывалось на том, что этот человек полагал нужным начищать упряжку своего пони и медные ободки печурки. Он обтирал также бутыль с томатным соусом каждый раз, когда ему приходилось ею пользоваться. Такое поведение, с точки зрения Драчуна, свидетельствовало о том, что человек он никчемный и трусоватый.

Матросы стали и его спрашивать о ценах на пирожки. Их реакция на его ответ заставила продавца поспешно ретироваться, и это полностью подтвердило, что Драчун определил его характер правильно. Драчуна это разозлило, но матросов подбодрило и, подойдя вплотную к торговцу, они изложили ему во всех подробностях, что он должен сделать со своими пирожками.

Владелец тележки, побледневшее лицо которого серым пятном выступало на фоне сгущающейся темноты, взглядом молил Драчуна о помощи. Драчун сорвал передник, швырнул его на тележку и побежал через дорогу. Я последовал за ним.

Если его решительная манера и навела моряков на

размышление, вида они не показали и встретили его насмешками и хохотом.

— Катись назад, к своей конине, папаша, — крикнул один из них долговязый малый, который, сострив, всякий раз оглядывался на своего спутника за одобрением, без которого он сразу же увял бы и которое делало присутствие этого дружка просто необходимым для него.

Приблизившись к противнику, Драчун принял боевую позу, ставшую за многие годы хорошо знакомой тысячам посетителей стадионов. Он выпрямился, откинул голову назад, прижал локти к бокам и выставил вперед кулаки точь-в-точь кулачный боец со старинной гравюры.

При виде этих приготовлений к бою рослый матрос впал в бешенство. Он пригнулся, поднял согнутые в локтях руки и, приплясывая, попятился. Он отшатывался то в одну сторону, то в другую, словно увертываясь от ударов. Он делал скачок вперед и тотчас отпрыгивал. Так в его представлении должен был вести себя знаменитый боксер, выигрывающий финальную схватку чемпионата; по мере того как в его сознании ясней вырисовывался этот образ, он менял положение рук, ног и головы.

Каждое его движение было карикатурой на изящество и мастерство. Он и не делал попыток схватиться с Драчуном. Эти минуты были слишком драгоценны, демонстрация ловкости вдохновляла его и вселяла в него мужество — слишком обидно было бы свести все дело к кровавой драке.

Он делал вокруг Драчуна большие круги, как овчарка, охраняющая стадо. Его дружок держался рядом и подбадривал его одобрительными возгласами. Драчун медленно поворачивался, чтобы матрос не оказался у него за спиной, но вдруг это ему надоело, он ринулся вперед и вплотную приблизился к матросу, продолжавшему размахивать руками. В следующее мгновение могучие кулаки Драчуна заработали как поршни, нанося короткие стремительные удары по ребрам и животу моряка.

Моряк согнулся словно в почтительном поклоне, являя собой вопросительный знак. Он широко раскрыл рот, и на лице его появилось выражение человека, у которого внезапно начались сильные рези в желудке.

Его приятель, напуганный этим зрелищем, бросился на Драчуна, как раз опустившего в эту секунду руки, и нанес ему такой сильный удар в грудь, что Драчун отлетел к тележке с пирожками. Он зацепился обо что-то каблуком и повалился навзничь, падая, он ударил головой в бок пони и соскользнул ему

под ноги.

Пони попятился и встал на дыбы. Железной подковой он задел Драчуна по голове, сильно оцарапав ему лоб. Когда Драчун поднялся на ноги, лицо его было залито кровью.

Владелец тележки, испуганный оборотом, который приняли события, и желая избавиться от обступивших тележку зрителей, крикнул:

— Фараоны!

Толпа рассеялась. Оба моряка пустились бежать по Флиндерс-стрит, и через минуту на месте происшествия остались только мы трое.

Драчун сел на край тротуара, опустив голову на руки. Я наклонился над ним и расправил содранную кожу, затем взял свой носовой платок, сложил и обвязал им голову Драчуна.

Присев рядом с ним, я сказал:

— Что же теперь делать? Не сходить ли тебе к врачу? Кровь просочилась сквозь платок, вид у Драчуна был много хуже, чем его состояние.

— Нет, — ответил он» с презрительной усмешкой. — Ведь порез неглубокий?

— Пони подковой содрал кожу, — сказал я, — это не порез, скорей ссадина. И все же надо бы к ней что-нибудь приложить.

— Приду домой, так приложу, — сказал он, подымаясь на йоги.

Он еще немного поговорил о подробностях драки с торговцем, которому пришел на помощь, а затем мы вернулись к своей тележке. В этот вечер он ушел домой рано.

Когда назавтра вечером я подошел к тележке, он приветливо со мной поздоровался.

— Принес твой платок, — сказал он и подошел к тележке, где среди хлебцев лежал выстиранный, выглаженный и аккуратно завернутый в обрывок газетной бумаги мой носовой платок.

Он отдал мне его, затем подошел к передку тележки и достал картонную коробку для обуви.

— Я знаю, ты любишь животных, — сказал он, — вот я и купил тебе черепаху.

Я приподнял крышку, сидевшая в коробке черепашка из реки Мэррей поспешно втянула голову под прикрытие панциря.

А неделю спустя он подарил мне птицу.

— Я знаю, ты их любишь, — сказал он.

ГЛАВА 4

В эпоху пирожника, как я назвал этот период моей жизни, я перепробовал множество занятий. Я был опытным бухгалтером и в условиях возраставшего благосостояния середины двадцатых годов легко находил себе работу.

Но постоянное место мне получить так и не удалось. Меня нанимали разные конторы, когда нужно было срочно помочь в работе или привести в порядок бухгалтерские книги, запущенные собственными служащими.

Моя первая служба в городе у Смога и Бернса закалила меня. Я приучился думать, что брать меня на работу будут только те, кто понимает, что я готов трудиться больше и усерднее, чем здоровые люди, не изведавшие безработицы. Предприниматели, руководствовавшиеся такими соображениями, были жестоки. «Что ж, — рассуждали они, — может быть, и имеет смысл дать временное место калеке. В6 всяком случае, можно попытаться».

Такого рода служба ничего не сулила мне в будущем, но я получал полную оплату, и мне удалось подкопить немного денег и купить себе кое-что из одежды. Раз в неделю я мог посещать кино. Я мог ездить на трамвае когда угодно.

В течение года, что я проработал у Смога и Бернса, мне было очень трудно сводить концы с концами. Каждое заработанное мною пенни было на счету. Прежде чем сесть в трамвай, я должен был подумать, могу ли я себе это позволить. Мыло для бритья являлось для меня роскошью; зубная паста была мне не по средствам.

Все свои средства я носил в кармане и часто их пересчитывал. Я выписывал на бумаге расходы, предстоявшие до ближайшей получки. Если в конце недели у меня в кармане оставалось три пенса, я считал, что дела мои не так уж плохи.

На протяжении всего этого периода меня поддерживало обещание, данное миссис Смолпэк, что после того, как я проработаю год, она будет полностью выплачивать полагающееся мне жалованье. День, когда обещание это будет приведено в исполнение, сиял передо мной, и сияние становилось все более ярким по мере того, как расстояние между нами сокращалось.

Но еще более важным, чем лишние деньги, которые я стал бы получать с прибавкой жалованья, было бы избавление от давившего меня чувства неполноценности. Моя еженедельная получка, равнявшаяся половине жалованья здорового человека, постоянно напоминала мне, что я не такой, как все, и что на шкале оценки служащих я занимаю, по мнению хозяев, весьма

низкое место. Если бы мне стали платить столько же, сколько другим клеркам, для меня это был бы огромный шаг вперед. Только в этом случае я перестал бы чувствовать себя неудачником.

Истек год, и я ожидал, что миссис Смолпэк объявит мне о прибавке. Я не сомневался, что она это сделает. Я все еще думал, что мир деловых отношений управляется теми же законами, которые существуют в отношениях между друзьями. Обещание обязывало.

Управляющий мистер Слейд часто хвалил меня. Я знал, что он докладывал миссис Смолпэк о том, как хорошо я работаю, и мысленно уже видел, как обмениваюсь с ней рукопожатием, принимая поздравления с окончанием года работы и прибавкой жалованья.

Но неделя проходила за неделей, и я не видел никаких признаков того, что миссис Смолпэк намерена сдержать свое слово. Напомнить ей о нашей договоренности я считал унизительным. Мне казалось постыдным выпрашивать то, на что имеешь право, и я все откладывал разговор с ней, надеясь, что она наконец вспомнит о нашем условии.

И вот мне представилась возможность напомнить о нем. Как-то она остановилась за моим стулом, заглядывая через мое плечо в гроссбух, куда я вносил какие-то цифры. Она спросила меня что-то об одном из клиентов, задержавшемся с платежами, и я сообщил, что уже написал ему по этому поводу.

Она собиралась уйти, но я повернулся к ней и сказал:

— А знаете, миссис Смолпэк, я ведь проработал у вас уже больше года; помните, когда вы меня нанимали, вы обещали мне полный оклад после того, как я проработаю год. Вы, наверно, об этом забыли, и я решил вам напомнить.

По мере того как она меня слушала, медленная, но неумолимая перемена происходила в ней. Спокойствие, с которым она говорила со мной прежде, улетучилось при первых же моих словах. Краска залила ее лицо, дыхание участилось. Я заметил это, и мой голос стал терять уверенность. Когда я кончил говорить, она с минуту молчала, в упор смотря на меня, подыскивая слова, чтобы излить кипевшее в ней негодование. Наконец, сдерживая ярость, произнесла:

— Я взяла вас на работу из жалости — и вот благодарность! Вы должны почитать себя счастливым, что вообще работаете. Смешно даже думать, что вы вправе получать столько же, сколько получает сильный, здоровый мужчина.

Она выпрямилась и, подавив клокотавшее в ней чувство гнева, продолжала спокойным голосом с оттенком презрения:

— Конечно, через годик-другой я прибавлю вам, но, во всяком случае, не теперь, когда так много физически здоровых людей не имеют работы.

Я не нашелся, что ответить на эту вспышку; я никак не ожидал ее и оказался совершенно к ней неподготовленным. Я продолжал сидеть, уставившись в пол, а миссис Смолпэк удалилась.

Но прошло несколько минут, и я страшно обозлился. В уме замелькали язвительные замечания, которые мне надлежало бы произнести в ответ. Они помогли мне обрести чувство собственного достоинства, но не давали победы. Смириться с поражением в этом первом испытании значило обречь себя на новые неудачи. Я твердо решил не делать этого.

Я позвонил в департамент охраны труда и попросил прислать инспектора к Смогу и Бернсу для проверки ведомости на зарплату. Через час он явился. Я наблюдал, пока он разговаривал с мистером Слейдом внизу в магазине. Это был худощавый человек в очках; то, что говорил ему мистер Слейд, он выслушал внимательно, но без «сякого интереса. Он уже привык к тому, что его пытаются окольными разговорами отвлечь от истинной цели прихода, и видом своим давал понять, что все эти ухищрения совершенно ни к чему.

Мистер Слейд с тревожным видом привел его в контору. Он представил нас друг другу и сказал мне:

— Мистер Скорсуэлл — инспектор департамента охраны труда. Он хочет ознакомиться с ведомостями на зарплату.

Мистер Слейд поспешил вниз в кабинет миссис Смолпэк, чтобы сообщить ей о приходе инспектора. Через несколько минут она уже стояла рядом со мной, заполняя всю контору своим присутствием; обстановка сразу стала напряженной.

Но я не боялся миссис Смолпэк. Я знал, что через несколько минут буду свободен, что она больше никогда не сможет унизить и оскорбить меня.

Мистер Скорсуэлл, отложив ведомости в сторону, обратился ко мне:

— Вам не платят сколько полагается, мистер Маршалл?

— Да, не платят.

Миссис Смолпэк стала что-то объяснять, но он жестом остановил ее:

— Минуточку.

Он стал что-то подсчитывать на листке бумаги, затем обратился к ней:

— Вы знаете, что этому человеку недоплачивают? — спросил он. Недоплачивают уже больше года.

— Он — калека, — огрызнулась она, бросив это слово как оскорбление.

— Это к делу не относится, — сердито заметил инспектор. — Он имеет право получать такое же жалованье, как и всякий другой. Вы должны возместить ему восемьдесят семь фунтов. Если вы сейчас выдадите ему чек, я завизирую ваши ведомости на жалованье; в противном случае нам придется возбудить против вас дело.

Миссис Смолпэк с трудом сдерживалась, чтобы не закричать. Чтобы ее заставляли платить мне такую сумму! Это было выше ее сил. Но деловая сметка взяла верх над эмоциями. Ведь ее имя часто упоминалось в светской хронике газет, ей нельзя было рисковать своей репутацией благотворительницы. Капитуляция бывает порой неизбежна.

Быстрым, решительным взмахом пера она выписала чек и повелительным жестом толкнула его в мою сторону, словно приказывая мне принять его.

— Вы уволены! — грубо и зло сказала она.

Честь ее была спасена, победа осталась за ней.

Я не проронил ни слова. Сняв с крючка свою шляпу, я вышел вместе с мистером Скорсуэллом. Когда мы спускались в лифте, он заметил:

— Вы счастливо от нее отделались.

На улице при расставании мы обменялись рукопожатием.

До самого вечера я оставался в городе. Возвращаться в пансион в часы, когда все на работе, мне никак не хотелось.

Присутствие людей как-то скрашивало его, без них от его стен веяло мерзостью запустения. Опустевшая столовая, молчащее пианино, ненакрытый стол — вот что меня ждет, если я сейчас пойду домой.

А в моей комнате разве лучше… Постель, которая поздно вечером обещает покой и отдых, сейчас, при свете дня, напоминает койку в тюремной камере. Эта комната была терпимой только при электрическом освещении.

Итак, я решил провести остаток дня в городе. Зашел в кафе. Ужин обошелся мне в пять шиллингов, но зато угостился я на славу. Прежде чем сделать заказ, я внимательно изучил меню и потребовал самые дорогие блюда. Купил также пачку табаку и курительной бумаги и стал свертывать толстые сигареты, милостиво поглядывая на сидящих за соседними столиками.

Я притушил сигарету, когда она была на три четверти выкурена, но, уходя, извлек окурок из пепельницы и спрятал в карман. Я мог позволить себе разок сумасбродную выходку, но понимал, что нельзя окончательно терять чувство реальности. Я

знал, что это блаженное чувство обеспеченности долго не продлится!

В последующие месяцы, работая понемногу в разных местах, я воспользовался заметками, которые делал, возвращаясь домой после вечера, проведенного у тележки с пирожками, и написал небольшой рассказ о Драчуне. Назвал я его «Возмездие». Мне казалось, что это хороший рассказ, но в ту пору я писал с уклоном в натурализм и потому неубедительно. Я еще не научился видеть того, что скрывалось за мрачными сцепами, которые я описывал.

Я послал рассказ в «Бюллетень» и несколько недель спустя прочел отклик на него в отделе «Ответы корреспондентам»: «Необработанно, но сильно. Продолжайте в том же духе».

На этот раз конец недели в Уэрпуне был для меня триумфом. Семейство наше восприняло ответ редакции, отклоняющий мое произведение, с такой радостью, словно рассказ уже появился в печати. Это было поощрение со стороны людей авторитетных, подтверждение того, что я на верном пути. Вырезку из журнала я носил при себе, часто вынимал ее из кармана, смотрел на нее.

Я решил прочитать рассказ Драчуну и как-то вечером захватил его с собой. Однако, подойдя к тележке с пирожками, я, к своему удивлению, увидел у печки Стрелка Гарриса в белом фартуке. Он встретил меня широкой улыбкой. Теперь у него были зубы. Большие и белые, они сплошными рядами сверкали у него во рту.

— Провалиться мне на этом месте, если это не «Душитель Льюис», собственной персоной, — крикнул он, когда я поднялся на край тротуара. — На, держи. — Он протянул мне руку, и я пожал ее. — Довелось на этих днях кого-нибудь придушить? — спросил он и оглушительно захохотал.

Мне было не по себе. Его шутливый тон не находил у меня отклика.

— А что с Драчуном? — спросил я.

— Инфлюэнцу подцепил. Я взялся пока подменить его. Ну а ты-то как живешь? Драчун говорил мне, что ты часто здесь околачиваешься.

— Да я тут чуть ли не каждый вечер бываю, но тебя ни разу не видал. А ты все такой же.

— А чего мне меняться? Дела мои — на мази.

— Ты еще долго торчал в гостинице после моего ухода?

— В этом проклятом заведении? — с презрением воскликнул Стрелок. Очень мне надо! Я его скоро бросил, стал продавать пирожки около кино и в других местах. А вообще-то славно нам там жилось, ничего не скажешь. Старика Шепа прогнали. Жалкий

побирушка! Так и юлил, когда хотел выпить, в глаза заглядывал, как голодный пес. Вспомнить противно!

Он приложил руку рупором ко рту:

— Горячие пирожки и сосиски! — Затем снова обратился ко мне: — А знаешь, гостиницу-то сожгли.

— Ничего об этом не слышал, — сказал я.

— Как же! Дотла сгорела. Говорят, девки прямо из окон прыгали, пока парни брюки натягивали, а Малыш все водой поливал. Так и не узнал я, кого же старуха Фло подговорила поднести спичку. Ведь все было застраховано, и на большую сумму. Я бы это сделал за сотнягу, а вторую содрал бы с нее за то, что стал бы держать язык за зубами, — ну да она сама не промах, старая стерва.

— А что стало с Артуром?

— Артур приходил сюда в прошлую пятницу вечером, искал тебя. — В голосе Стрелка звучала радость от того, что он может мне сообщить эту весть. Артур ведь обзавелся лодкой и ловил лангустов в Тасмании. Я его почти три года не видел, он говорит, что жил на острове на каком-то, целых шесть месяцев. Совсем один. Занятный он малый. Велел передать тебе при случае, что придет сюда в следующую пятницу.

Я обрадовался, что снова увижу Артура. При одной мысли, что скоро я смогу выложить ему все мучающие меня вопросы, мне начало казаться, что они уже решены. На душе стало веселее.

— Как он выглядит? — спросил я Стрелка.

— А все такой же. Пригласил его к себе, хотел распить с ним бутылочку, пока старуха ее не прикончила, но он ни в какую. Он, мол, бросил пить. С иными парнями такое случается: вобьют себе невесть что в голову, только время зря теряют…

Люди непьющие Стрелка нисколько не интересовали.

— Я никогда не доверюсь парню, который отказывается от кружки пива, как-то сказал он мне. — С такими дружить нельзя.

Меня не удивило, что Артур больше не пьет. Даже в прошлом, когда у него бывали запои, он никогда не терял над собой контроль, отвечал за свои действия. Он не был настоящим алкоголиком. Я хотел узнать о нем как можно больше, но особенно мне хотелось почувствовать, что и я ему нужен. Ведь он единственный из всех встречавшихся на моем пути людей сам искал сближения со мной, и мне не терпелось убедиться, что его дружеские чувства — ко мне не ослабели.

Прямо спросить об этом Стрелка было бы очень уж по-детски, и я решил подойти к вопросу окольным путем.

— Обо мне он, конечно, много не спрашивал.

— Да как тебе сказать, — спросил, как ты живешь. Ну, я

сказал ему, чтобы узнал у Драчуна.

Тут он умолк и посмотрел на меня, и, хотя он продолжал улыбаться, глаза у него стали острыми и подозрительными.

— Слушай, а на кой ты сдался Драчуну? Вас ведь водой не разольешь? Что-то он, верно, с тебя имеет.

— Ничего он не имеет, — сказал я со злостью, бросив на Стрелка сердитый взгляд.

— Ладно, ладно! — воскликнул он, махнув рукой. — Он много говорил о тебе, вот я и хотел узнать…

Он снова стал расхваливать свои пирожки прохожим я немного погодя продолжал:

— Артур в субботу трепался с Драчуном насчет тебя. Все выспрашивал, не путаешься ли ты с девками. — Тут Стрелок понизил голос и доверительно спросил: — А есть у тебя какая-нибудь девка?

— Нет, — сказал я.

— Ты какой-то порченый, — сказал он с презрением в голосе и выпрямился во весь рост. — А туда же — важничал! Буду, мол, писать книги, и то и се — а девки завести не сумел!

ГЛАВА 5

— Всю следующую неделю я каждый вечер приходил к тележке с пирожками, надеясь застать там Артура еще до пятницы. И вот как-то часов около одиннадцати вечера, когда я возвращался домой по Элизабет-стрит, меня неожиданно остановил какой-то рослый мужчина. Он стоял с кем-то в дверях магазина и, увидев меня, вышел на середину тротуара, окликнул и протянул мне руку. Я остановился и глянул в его суровое лицо. Я догадался, что передо мной сыщик, и напряженно ждал, что он скажет.

— Как тебя зовут? — спросил он. Я ответил.

По моему виду он, вероятно, понял, что я напуган, и, взглянув на меня приветливей, сказал:

— Не бойся, мы не за тобой. Я просто хотел дать тебе совет, только и всего. Ты стоял возле тележки с пирожками с восьми часов, верно?

— Верно.

— Что ты там делал?

— Разговаривал.

— С кем?

— С Драчуном.

— О чем вы говорили?

— Он рассказывал мне о своих встречах с разными боксерами на стадионе.

— В этом, конечно, нет ничего дурного; беда только, что это у тебя вошло в привычку. Послушай моего совета — держись от этих мест подальше. Не показывай там носу. Можешь болтаться в других кварталах, если тебе нравится, но этот угол обходи стороной. Мы за него ваялись всерьез. Не знаю, вольно или невольно, но ты затесался в компанию самых отъявленных мошенников Мельбурна. И если ты окажешься среди них в момент облавы, то и тебя заберут. Теперь ты понял, о чем речь?

— Понял, — сказал я.

— Мы знаем, что сам ты ни в чем не замешан, но у нас на примете кое-кто из парней, с которыми тебя видели. — Тут он сразу изменил тон и сказал резко и повелительно: — Сколько человек работает на «жучка», который собирает ставки на лошадей?

— Не знаю, — сказал я. — Я на скачках не играю.

— Ты хочешь сказать, что отвечать не намерен? — сказал он и добавил уже дружеским тоном: — Ладно! Только сматывайся отсюда и держись подальше от тележки с пирожками. — Он

похлопал меня по плечу. — Ну, быстро, проваливай!

Я спустился по Элизабет-стрит и дошел до угла Коллинз-стрит. Постоял там и вскоре увидел обоих сыщиков; они шли по Коллинз-стрит, направляясь в полицейское управление, помещавшееся на Рассел-стрит. Я поспешил обратно к Драчуну и рассказал ему обо всем, что произошло. Выслушав меня, он осмотрелся по сторонам, задерживая взгляд на людях, стоявших неподалеку от тележки.

— Они только что прошли, — сказал он в раздумье. — Единственно, кого они могли заметить здесь сегодня, — это Стэггерса. — Он кивнул на человека, который стоял, прислонившись к стене гостиницы.

Затем Драчун подбросил полено в печурку и положил руку мне на плечо.

— За меня не тревожься. Против меня у них улик нет. Они разыскивают «жучков», работающих на скачках, те кого-то нагрели, а он возьми и наябедничай. Не разбираются в людях. Но ты держись в стороне. Я на днях к тебе забегу.

— Слушай, Драчун, — сказал я. — Артур хотел встретиться со мной здесь в пятницу вечером. Если он появится, скажи ему, что я его жду около театра «Мельба».

— Ладно, скажу. — Он протянул мне руку: — Ну, пока. Я пожал ее.

— Ты хорошо ко мне относился, — сказал я. — Спасибо.

— Проваливай, — сказал он и шутливо ткнул меня в бок. — Ты — парень что надо.

Я отправился домой, но, пройдя немного по улице, обернулся. Драчун все еще смотрел мне вслед. Он помахал рукой, и я помахал в ответ.

Чувство страшного одиночества охватило меня. Совет сыщиков был равносилен приказу. Подчинившись ему, — а другого выхода у меня не было, — я порывал не только с людьми, с которыми подружился и с которыми мог разговаривать, но вообще изолировал себя от жизни города. Стоя вместе с другими у тележки, я чувствовал себя одним из многих. Я как бы приобщался к жизни более насыщенной и интересной, чем та, которую знал и видел сам, гораздо более интересной, потому что она складывалась из жизней множества разных людей.

Я мог лишь соприкоснуться с этой большой жизнью рисовавшейся мне весьма смутно, — на большее я не рассчитывал, — но здесь, у тележки с пирожками, я, по крайней мере, стоял у ее порога. Путь к заветной цели начинался за этим порогом.

«Но, — думал я, — должны ведь существовать и другие пути,

их должно быть много. Вся трудность в том, как найти, как распознать их». Казалось, все надо начинать сызнова, и при этой мысли сердце мое сжималось.

Чтобы способности человека развивались по-настоящему, необходимо общение с другими людьми, — это я понимал. Отец как-то говорил мне, что пристяжные в упряжке не менее важны, чем коренники, и что большинство людей — это пристяжные.

Самое главное — это попасть в упряжку. Но как? Мой небольшой опыт говорил мне, что в современном обществе человек, пожелавший стать пристяжной, отбирается по тому же принципу, что лошадь для упряжки. Если так, мне не на что было рассчитывать.

И неожиданно мне в голову пришла мысль, что до сих пор я жил как наблюдатель, а не как участник жизни, и в этом повинен я сам. Нельзя ждать, пока тебя кто-то выберет, надо самому искать свободное место и занимать его.

Я со стороны наблюдал происходящую в мире борьбу, совсем как когда-то во время стачки полицейских, со стороны смотрел на драки, бушевавшие на Суонстон-стрит. Теперь, оглядываясь назад, я понимал, что эти драки можно было быстро прекратить, — нужно было только обратиться к дерущимся с какими-то неведомыми и недоступными мне словами, нужно было произнести их с должной силой и убедительностью, и все было бы кончено. В этом я был уверен.

Люди превращаются в скотов из-за того, что те, кто знает нужные слова, из страха или из корысти не решаются их произнести, а те, кто хотел бы сделать это, слов этих не знают. Я принадлежал к последним.

В пятницу вечером, когда я дожидался у входа в театр «Мельба», ко мне подошел Артур. Он шел по улице — такой же прямой, как прежде, и той же легкой походкой. Он еще издали начал улыбаться мне, но взгляд, устремленный на меня, был серьезен, пристален и, наверно, сказал Артуру обо мне все.

— Как живешь, Артур? — спросил я.

Он оставил этот вопрос без ответа. Не в его обычае было тратить время на пустые любезности; которыми полагается обмениваться друзьям.

— Я знаю тут поблизости кафе, где можно выпить крепкого чаю, — сказал он. — Пойдем туда.

Он зашагал, и я заковылял рядом с ним.

— А ты пополнел, — продолжал он. — Как твой отец?

— Хорошо, — сказал я. — …но послушай… Расскажи мне. Ты ведь ловил лангустов, правда? Я хочу знать все, что ты делал. Почему ты ушел из гостиницы? Мне о стольком нужно с тобой

поговорить. На днях ко мне подошел сыщик и предупредил, чтобы я не ходил больше к тележке пирожника.

— Да, Драчун говорил мне. Он мне все рассказал. Этот фараон поступил правильно. Чего ради тебе тереться возле этой публики? Ничему ты от них не научишься. Ведь ты все еще собираешься написать книгу?

— Да, — сказал я и прибавил: — Но они славные люди.

— Так-то оно так, да только затягивает такая компания. Потом ты бы уж и не вырвался. А если бы продолжал водиться с ними, так непременно влип бы в какую-нибудь историю; не успел бы оглянуться, как тебя бы замели.

Он вошел в кафе первым, отодвинул два стула от углового столика и, бросив мне: «Садись!» — заказал официантке чай и сэндвичи. Потом он сказал:

— Драчун говорил мне, будто какая-то баба платила тебе только половину жалованья. Почему, собственно? Я рассказал ему.

— Но, — добавил я, — это все позади.

— Как ты мог с этим мириться? — воскликнул он, раздосадованный. Клянусь богом, будь я здесь, ты бы так себя не вел. Сказал бы я ей пару слов. Никогда не позволяй садиться себе на голову.

Я попытался отвлечь его от моих дел и стал расспрашивать о том, что произошло с ним с тех пор, как мы не виделись. Артур рассказал, как он расстался со своим дилижансом, — понял, что время лошадей кончилось. Отправился в Тасманию и стал работать на пару с одним рыбаком. Они купили «кетч» — небольшое двухмачтовое суденышко и стали ловить лангустов у островов Пролива Басе. Первые несколько месяцев им приходилось туго, но потом они занялись браконьерством и здорово поправили свои дела.

— Раза два полиция нас чуть не накрыла, и мы потеряли большую часть добычи, — рассказывал Артур. — Как-то ночью пришлось удирать в кромешной тьме, и я чуть не посадил «кетч» на скалы: темно было, хоть глаз выколи. Руки своей не видишь. Я заметил рифы, когда мы уже почти на них налетели. Навалился на руль и сумел-таки проскочить между ними. А все-то расстояние не шире, чем эта комната. На волоске от гибели были. Ей-богу! На следующий день осмотрели это место и глазам не поверили. До сих пор не понимаю, как нам удалось уцелеть. Но затем фараоны взяли нас на заметку, и я решил это дело бросить.

Потом он арендовал один из островков, разбросанных в Проливе; на этом островке еще сохранились остатки стада, блуждавшего в зарослях. Он прожил там в одиночестве около

года, построил загон, согнал туда скот и стал переправлять его в Тасманию.

Но как-то одна партия — «шалые все, будто мартовские зайцы», проломила изгородь скотного двора в Лонсестоне и, ополоумев от страха, понеслась по улицам города.

— Что тут было! Никогда бы не поверил, что телки могут такое натворить, — сказал Артур. — Произошел страшный скандал. Бросил я это дело и вернулся сюда.

— Чем же ты теперь занимаешься? — спросил я.

— Играю на скачках.

— О, господи! — Я не мог удержаться от восклицания.

— На жизнь заработать можно, если только не зарываться, — сказал Артур.

— Ты что, спрашиваешь у жокеев, на кого ставить?

— Нет, сам присматриваюсь — какая лошадь в хорошей форме, какая нет. Я себя ограничил — восемь фунтов в неделю, их я всегда имею.

Он снимал комнату на Кинг-стрит и питался в кафе.

— Человеку нужна жена, — сказал он, внезапно утратив всю свою бодрость.

Он был одинок. Ему было уже под сорок, но он до сих пор еще не встретил женщину, которую мог бы полюбить. В Уоллоби-крик он мне часто рассказывал о женщинах, с которыми у него были романы. Все это были кратковременные связи, без глубокого чувства. Женщины, с которыми он встречался, были мелочными и алчными, они удовлетворяли его физические потребности, но не трогали сердце. Обстоятельства были виной тому, что у него так складывались отношения с женщинами, — другой бы на его месте стал циником, но Артура это совершенно не испортило. У него было доброе сердце, и женщины, с которыми он сближался, всегда относились к нему с уважением.

Может быть, это объяснялось тем, что ой и сам уважал их, даже осуждая иные их недостатки. Или, может быть, тем, что сам он неотступно следовал нравственным правилам, установленным им для себя из презрения к лицемерам, которые, воспевая общепринятые добродетели, отнюдь не считали их для себя обязательными.

Как-то он мне сказал:

— Верь не словам, а фактам. Ты, и только ты можешь судить, что хорошо для тебя и что плохо.

Я стал рассказывать ему о том, как хотелось бы мне встречаться с девушками. Это была не только физическая, но и духовная потребность. Два желания боролись во мне — я хотел обладать женщиной и хотел найти в ней преданную подругу,

которая помогла бы мне справиться с чувством одиночества, с сознанием своей неполноценности.

Но постепенно я понял, что эти желания тесно переплетаются между собой. Понял, что без любви — пусть даже недолгой — я никогда не мог бы удовлетворить свою физическую страсть.

— Вся беда в том, что ни одна девушка не сможет меня полюбить. — Этими словами я закончил свою исповедь.

— Еще как сможет!

— Откуда ты знаешь?

— Черт возьми, — воскликнул он. — Уж кому знать, если не мне. Я имел дело с женщинами и знаю их.

— Но ведь ты говорил мне, что никогда в жизни не влюблялся.

— Не те женщины мне попадались. Ведь я был моряком. По полгода не видел женщин. В Буэнос-Айресе, правда, встретил раз девушку, которую мог бы полюбить, да не хватило времени.

Что было, то было, и оправдываться я не собираюсь, но одно хочу тебе сказать: встречаясь с женщиной на другой день, я всегда мог прямо смотреть ей в глаза и улыбаться. Иначе я бы перестал себя уважать.

— Но ведь все это были продажные девки? — спросил я.

— Девки? Ну что ты! Я любовь за деньги никогда не покупал. Это же скотство, да и женщина не должна опускаться до того, чтобы торговать своим телом. Я имел дело только с теми женщинами, которые хотели меня так же, как я хотел их. Я танцевал и веселился с ними, я проводил с ними ночь и уходил от них. И они были очень довольны. Но это не для тебя, ты совсем другой. Ты должен сам решить, что для тебя лучше. Но запомни, самое главное, чтобы у тебя не было потом неприятного осадка. Нужно, чтобы тебе было хорошо, и девушке тоже.

— А я не знаю, что для меня хорошо, — сказал я мрачно.

— Не знаешь, потому что у тебя в голове все перепуталось. Но я тебе мозги вправлю, черт меня возьми, если я этого не сделаю. Подумай только, что ты сейчас сказал: девушка, мол, не может его полюбить и тому подобное. Что за чертовщина! Послушать тебя — можно подумать, что девушки влюбляются только в боксеров, вроде того парня, — забыл его имя, что пудрится и завивается каждый раз, когда выходит на ринг.

— Не знаю, — сказал я подавленно. — Надо искать выход. Буду писать целыми днями.

— А о чем, черт возьми, ты собираешься писать? Интересно, как это ты сможешь писать, если ты не любил? В книге должна быть и любовь и ненависть, и поцелуи девушек и еще чертова уйма самых разных вещей. По-моему, книга тогда хороша, когда я

могу сказать: «Черт возьми, да ведь это же я, это обо мне написано». Хотя я и не так уж много читаю. Слишком много времени тратишь на то, чтобы заработать на хлеб. Твой отец, он вот понимает толк в книгах… Я с ним говорил об этом… Много раз говорил. Он сказал мне, что не любит читать книги, которые вроде бы полагается читать, надев праздничный костюм. Ей-богу, он прав.

Слушай, с девушками тебе надо знакомиться. Только ни одна на тебя и не глянет, если ты будешь смотреть на них с таким побитым видом. Сам ведь знаешь, что злая собака всегда кусает того, кто ее боится. Она это чувствует и сразу же бросается. А если ты ее не боишься, она даже даст себя погладить.

Вот так же и девушки. Если ты робеешь и считаешь себя недостойным коснуться ее руки, она на тебя и не посмотрит. Если же страсть закружит вас обоих, она — твоя. Ты должен влюбиться. Должен пылать огнем. Тогда девушки будут тебе улыбаться и придут к тебе. Тогда ты узнаешь, какая это чудесная штука — очиститься от грязи, которой люди так любят марать отношения мужчин и женщин. Ты почувствуешь себя так, словно искупался в роднике. Чтобы жить, надо быть чистым, и чтобы писать, — наверное, тоже. Но ты никогда не почувствуешь себя чистым, пока не узнаешь объятий женщины и, улыбаясь, не заглянешь ей в глаза. Не беспокойся, тебя будут любить, если ты того стоишь.

ГЛАВА 6

Я не последовал совету Артура, хотя и много о нем думал в последующие недели. Постепенно я все больше смирялся со, своим замкнутым образом жизни, стал уходить в себя, избегал столкновений, не искал перемен, держался как можно незаметней, прятался от людей, чтобы не вызывать в них неприятных или даже враждебных чувств. Я стал избегать всего, что могло причинить мне боль. Не лучше ли принимать жизнь такой, как она есть, думал я.

Именно в это время произошло событие, которое произвело на меня глубокое впечатление, — событие, под влиянием которого изменилась вся моя жизнь. Мои смутные и неуверенные поиски цели в жизни определились, и мне открылась Дорога, вступить на которую подсказал разум.

Я иногда заходил в лавку букиниста на Фицрое, чтобы купить какую-нибудь дешевую книгу, а то и просто почитать. В то время я уже мог себе позволить покупать по книге в неделю, но выбрать из множества произведений великих писателей какое-либо одно было нелегко.

Мне доставляло большое удовольствие просто стоять у витрины, сплошь заставленной старыми книгами, пропыленными и растрепанными, переплеты которых украшали хорошо знакомые имена, — книги эти приоткрывали завесу, позволяя заглянуть в еще неведомый мне мир.

Лавка принадлежала старику, никогда не расстававшемуся с очками. Вид у него был такой же потрепанный и пропыленный, как у завалявшегося, никому не нужного тома. Прежде чем вручить мне какую-нибудь книгу, оп полой пиджака стирал пыль с переплета, а затем снова усаживался за свою конторку в углу и зарывался носом в свое последнее приобретение в ожидании, пока я выберу, что мне нужно.

Я слышал, что у букиниста есть сын и что сын этот помогает ему в лавке, но никогда прежде его не встречал. Впервые я увидел его через несколько недель после возвращения Артура. Я вошел в лавку веселый, в хорошем расположении духа, радуясь тому, что через минуту я стану обладателем книги Конрада «Негр с «Нарцисса», которую старик отложил для меня.

Рядом с заваленным книгами столом стоял и смотрел на меня молодой парень на костылях. У него были бледные ввалившиеся щеки; узкие губы кривились в горькой усмешке. Руки, сжимавшие костыли, были костлявы и бескровны.

Грудь у него была впалая. Высохшие, бессильные ноги совсем

его не держали, он тяжело, всем своим весом наваливался на костыли, и голова так ушла в плечи, что на него страшно было смотреть.

Мы взглянули друг другу в глаза. Мы стояли не двигаясь, только смотрели, и эта минута показалась мне вечностью. Своим взглядом он как бы говорил, что видит меня насквозь, знает, что нас терзают те же муки отчаяния, что нам присущи одни и те же пороки, что мы познали одни и те же поражения и неудачи. Его взгляд как бы утверждал, что оба мы одержимы одинаковыми тайными помыслами и дурными желаниями; таким взглядом обмениваются при первой встрече порочные люди. Глаза его были похожи на темные щели в печи. Отчаяние, отчаяние, отчаяние…

Он пододвинул мне книгу — это была книга по вопросам пола. Искривив губы в мрачной улыбке, говорившей, что он-то знает, в чем я могу найти утешение, он сказал:

— Вот то, что тебе нужно.

Странная растерянность овладела мной — будто кто-то сказал мне, что я скоро должен буду умереть. Я смотрел на книгу, лежавшую передо мной на столе. Но не видел ее. Я видел только этого человека. Не сказав ни слова, я повернулся и вышел из лавки.

Я возвратился в пансион, заперся у себя в комнатушке и принялся разглядывать свое отражение в зеркале. Мое лицо смотрело на меня оттуда без враждебности, спокойно и бесстрастно. Казалось, и оно не спускает с меня глаз, терпеливо дожидаясь, что я скажу.

Я разглядывал свое лицо с беспощадной придирчивостью, стараясь найти в его чертах и выражении сходство с лицом юноши из книжной лавки. Мне казалось, что я вижу трагические морщинки, говорящие о том, что я покорился судьбе. А глаза — да ведь они же самые настоящие заслонки, стерегущие от чужих взглядов мою истерзанную больную душу.

Но едва эта мысль промелькнула у меня в голове — мое отражение в зеркале резко изменилось. Теперь на меня смотрело совсем другое лицо, с сжатыми челюстями, с бесстрашными глазами — глазами моего отца, — и я сразу успокоился.

Я отвернулся, сел на постель, обхватил руками голову и стал думать, как мне жить дальше.

Чего я хотел от жизни? Я хотел быть любимым. Я хотел быть человеком среди людей, идти бок о бок с ними, чувствовать себя равным им, испытывать те же радости и горести, что они, — я хотел жить как они, любить как они, работать как они. Я хотел, чтобы во мне видели обыкновенного человека, пользующегося всеми правами здоровых людей, а не калеку, которому постоянно

дают понять, что он неполноценен.

Я принадлежал к группе меньшинства, подобно евреям, неграм, аборигенам. Для таких людей существовали неписаные правила поведения, не касавшиеся остальных. Поступок одного из представителей меньшинства считался типичным для всей группы. Все члены группы пользовались одинаковой репутацией. Человек, обворованный евреем, уверял, что все евреи — воры. Если же его обкрадывал австралиец, то возмущался он лишь одним этим австралийцем. Один пьяный абориген служил доказательством того, что никому из аборигенов нельзя продавать спиртные напитки; пьяница-белый отвечал за свое поведение в одиночку. Калека, полюбивший девушку, подтверждал, что все калеки одержимы похотью; победам здорового человека только завидовали.

Я понимал, что, имея дело с девушками, должен буду подчиняться иным правилам, чем те, которым следуют физически крепкие люди. Ухаживая за девушками, здоровые молодые люди могли позволять себе поступки и не слишком благовидные — в большинстве случаев они вызывали снисходительную улыбку; любая попытка калеки сделать шаг в этом направлении встречалась враждебно и недоверчиво. Подобное отношение приводило к тому, что он вновь замыкался в себе. Замкнутость ограждала от сплетен, беда только, что она еще и ранила душу.

Я знал, что мне придется всегда быть настороже, чтобы сохранить за собой право считаться нормальным. Знал, что печальное выражение на моем лице будет непременно истолковано как симптом болезненного состояния и вызовет ко мне жалость. На лице здорового человека такое выражение осталось бы незамеченным и ни у кого не вызвало бы сострадания. Я знал, что на людях всегда должен буду появляться с веселой улыбкой, если не хочу, чтобы во мне видели несчастную жертву недуга.

Я соблюдал эти правила, но возмущался ими. Особенно с тех пор, как понял, что в жизни каждого человека есть свои трудности и осложнения, хотя общество предпочитает закрывать на них глаза, если они не затрагивают непосредственно его.

Взять хотя бы моих соседей по пансиону — миссис Бэртсворт испытывала все тяготы неудачного замужества, Мэми Фультон полагала, что молодые люди избегают ее из-за того, что она толста; мистер Гулливер чувствует себя счастливым, только находясь в центре всеобщего внимания.

А в конторе Смога и Бернса? Миссис Смолпэк была жертвой алчности и честолюбия; мисс Брайс не имела никакой цели в жизни; у миссис Фрезер была сварливая свекровь.

Но тяготы, испытываемые всеми этими людьми, не сломили их, поскольку они продолжали пользоваться уважением и расположением общества. Их личные неприятности никого не касались.

Очень многие из тех людей, которых я встречал на улице, испытывали свои трудности. Одни были не вполне нормальны, другие обладали скверным характером. Среди лих были жертвы семейного разлада, недостаточного образования, глупых родителей, жадности и похоти, они были жертвами общества, породившего условия, при которых стало возможным существование всех этих пороков. Трудностям не было числа — одни из них были приемлемы для общества, другие тщательно игнорировались, иные вызывали жалость или отвращение.

Людям с явными недостатками приходилось трудней, чем тем, чьи недостатки были скрыты. Поврежденный разум встречался не реже, чем поврежденное тело, но в первом случае свой недостаток можно было скрыть, тогда как во втором он был очевиден для всех. Человеку, отдававшему жизнь наживе, было несравненно труднее найти счастье, чем мне, но вряд ли многие сознавали это.

Мне иногда приходило в голову, что если бы люди с больным рассудком должны были бы иметь какую-то видимую опору, вроде костылей, то на улицах Мельбурна можно было бы оглохнуть от стука костылей.

Я размышлял о доброте и бескорыстии, проявленных многими знакомыми мне людьми. И то, что эти качества гораздо чаще встречались у бедных, чем у богатых, убедило меня, что именно в их среде меня скорее всего могут принять, как равного. Моя беда не смущала тех, у кого своих бед хватало по горло.

Раздумывая об этих людях, я начал понимать, до чего был неправ, обвиняя других в нежелании признать меня равноправным членом общества. Я сам был виноват в том, что люди отшатывались от меня.

Вполне естественно, что физическое уродство в первый момент отпугивает. Разве сам я не испытывал того же при встрече с другими калеками? Чтобы заставить Других преодолеть это чувство, надо было прежде всего победить его в себе самом. Артур был прав, говоря о моем пристыженном, виноватом виде.

Я знал многих калек, я разговаривал с ними о наших общих бедах и должен сказать, что ни один из них не страдал непосредственно из-за своего недуга. Все они неизменно жаловались на то, как к ним относятся отдельные люди пли общество, сетовали на условия, мешающие им получить работу и тем самым обрести независимость. Они были убеждены, что, как

бы дружески ни обращались с ними люди, они все равно смотрят на калек как на нечто чуждое их миру.

Разделял ли я это убеждение? Юноша-калека из книжной лавки, безусловно, разделял, он покорился судьбе. И вот теперь я понял, что это не так. Если человек но может окружить себя друзьями, то в этом повинен он сам.

Сейчас, сидя на кровати, размышляя о грозящем мне мрачном и одиноком будущем, я понял, что только от меня зависит, как сложится это будущее. Не было ничего легче, чем, ссылаясь на не зависящие от меня обстоятельства, оправдывать свою неприспособленность к жизни. Я мог находить утешение в этой мысли, самолюбие мое не страдало бы и, кроме того, это было хорошим предлогом отказаться от всякой борьбы и продремать всю свою жизнь под бледными лучами зимнего солнца.

Чтобы обрести радость жизни, люди должны учиться побеждать свои слабости. Решившись добиться счастья, человек неизбежно приходит к пониманию, что это счастье возможно лишь тогда, когда делишь его с другими. Но уже самые поиски счастья много дают человеку, прежде всего они вырабатывают у него характер, преобладающей чертой которого становится ощущение радости бытия.

Тело мое искалечено — нельзя допустить, чтобы это наложило отпечаток на мою душу. Только поднявшись духом выше своего телесного недостатка, только смотря на него как на нечто несущественное, я могу рассчитывать, что люди примут меня как равного. Тогда они признают мою победу, и я буду принят в их среде без снисходительного покровительства, без жалости, но с уважением. Я получу от жизни лишь то, что сумею ей дать.

Но приобрести уверенность в себе, необходимую для того, чтобы на равных правах занять место среди людей, свободно держаться в их обществе, казалось непосильной задачей для такого человека, как я, в том состоянии, в каком я находился.

Мне вспомнилось, как я стоял как-то перед освещенным входом в кафе на Фицрое, раздумывая — войти или нет. Падавший оттуда свет манил; перешагнув порог, я мог избавиться от обступавшей меня унылой темноты, в которой тонули узенькие проулки и некрашеные дома, отгороженные от улицы верандочками, перила которых были отполированы руками многих женщин. Я стоял, вдыхая запах бифштексов, лука и тостов с маслом.

Я хотел зайти, но боялся взглядов людей, сидящих за столиками. Это было кафе, где все посетители знали друг друга,

где можно было сидеть часами, наблюдая за приходящими и уходящими; при моем появлении все головы, конечно, повернулись бы в мою сторону.

Набравшись духу, я вошел. По краям комнаты деревянные диванчики стояли спинками друг к другу, образуя небольшие закутки. Люди, сидевшие в этих закутках, могли переговариваться между собой и передавать, если нужно, через спинки сахарницы.

Я сел в пустой закуток. В соседнем тоже никого не было.

Хозяйкой кафе была полька. У нее были широкие бедра, и ходила она в короткой юбке, что придавало ей сходство с колоколом. Обращалась она с вопросами ко всем посетителям сразу, а не в отдельности.

— Всем уже подано? — спрашивала она. — Кому еще тостов?

Она оперлась о мой столик и улыбнулась мне:

— А тебе чего принести? Тост? Бифштекс с яйцами?

— Тост, — сказал я и добавил: — И если можно, чаю покрепче.

Она подняла руку, словно принимая присягу;

— Покрепче? Ладно, принесу покрепче!

Пока она на кухне готовила чай — в кафе вошла семья аборигенов.

Отец, красивый мужчина с копной вьющихся черных волос, нес на руках маленькую девочку. Рукава его белой рубашки были закатаны выше локтей, обнажая кофейного цвета руки. Он улыбался.

Мать, худенькая застенчивая женщина, всеми силами старалась стушеваться. Она потупилась, съежилась, даже пригнулась немного — все для того, чтобы казаться незаметней. Она вошла в кафе так же робко, как и я.

Двое других детишек — мальчик и девочка — цеплялись за ее юбку. Малыш был до того напуган, что шел, повернувшись ко всем спиной и уткнувшись в колени матери, которая слегка его подталкивала. Девочка шла заплетаясь ножками, засунув в рот пальцы: она все ближе придвигалась к матери, словно стараясь спрятаться от яркого света.

Они заняли соседний закуток; отец сел спиной ко мне — над спинкой диванчика подымались лишь его голова я плечи. Девчурка, которую оп так и не спустил с рук, смотрела прямо на меня.

У нее были прелестные локоны, черные глаза с загнутыми ресницами и кожа, не знавшая резкого прикосновения ветра или дождя. Пухлая ручонка, со складками у запястья и локтя, лежала на отцовской спине. Другую ручку она поднесла ко рту и с довольным видом стала сосать кулачок.

Она была так мила, что я почувствовал непреодолимое желание взять ее на руки. Как мне хотелось, чтобы она была моя.

Медленным движением она отняла кулачок ото рта, словно, увидев меня, чего-то испугалась и хотела, чтобы я ее успокоил. Я улыбнулся ей. Она не знала, как к этому отнестись; мокрый блестящий кулачок покоился на спине отца, в ожидании дальнейших действий.

Мое молчание показалось ей скучным. Быстро приняв решение, она протянула кулачок к раскрытому рту, по сделала неверное движение, и кулачок угодил в щеку. Она поворачивала голову, пока рот не нашел сжатую ручонку, тогда она с радостью принялась ее сосать.

Я был разочарован. Нагнувшись через стол, я тихо сказал ей:

— Здравствуй.

Неожиданное приветствие удивило девочку. Она поспешно отняла кулачок, посмотрела на меня широко раскрытыми глазенками и, казалось, с опаской ждала, что я буду делать. Я повел рукой вверх и вниз, взмахивая кистью, как бабочка крыльями, — и это привело ее в восторг. Она несмело улыбнулась, сделалась серьезной, снопа улыбнулась. Потом пришла в возбуждение и стала подпрыгивать на отцовском плече.

Я привстал и протянул ей палец. Она поспешно схватила его и принялась дергать. Потом улыбнулась мне через плечо отца, и я улыбнулся ей в ответ.

Девочка попыталась затащить мой палец себе в рот, по я воспротивился этому, и она на мгновение перестала улыбаться и заглянула мне в лицо вопрошающим взглядом. Я приблизил лицо к ее личику, поднял брови и залаял по-собачьи: «Гав-гав!»

Тогда она протянула мокрую ручонку и крепко схватила меня за нос. Но тут отец ее пошевелился, и она отпустила мой нос. Отец девочки повернулся и посмотрел на меня с приветливой улыбкой, сразу связавшей нас узами симпатии.

— Она тебя полюбила, — сказал он и снова отвернулся.

Я возвращался домой из кафе, упиваясь чудесным значением этих слов. В последующие недели я не раз мысленно возвращался к ним, и мне всегда казалось, будто меня наградили орденом. Они вселили в меня гордость и веру в себя, влили в меня новые силы.

Мне был указан верный путь. Я должен был доказать самому себе, что могу быть любимым. И не беда, если я забреду по дороге на тропу, на которую с неодобрением посматривают почтенные рабы условностей. Разрешить мою проблему мог только я сам. Ни одному человеку в мире не приходилось решать точно такую проблему, при точно таких обстоятельствах. Решение могло быть

неправильным для всех, но правильным для меня.

«Пусть каждый человек почерпнет хоть что-то хорошее из знакомства с тобой», — как-то сказал мне Артур. И это стало для меня законом.

Я хотел писать книги, полные значения. И знал, что это невозможно, пока меня обременяет груз неверия в себя, сознание своей неполноценности, чувство, что я не такой, как все. Раствориться среди людей, слиться с ними вот цель, которую я поставил перед собой.

И, конечно, я должен познать любовь, как все люди. Я был уверен, что за каждым успехом, достигнутым мужчиной, стоит любовь женщины. Прежде чем стать писателем, я должен стать мужчиной. Только когда я увижу, что меня может полюбить женщина, я избавлюсь от тех цепей, которые сковывают калеку из книжной лавки и все более опутывают меня.

Отныне я не буду простым наблюдателем жизни — я стану ее участником. Я брошусь в стремительный поток, буду бороться с течением, как все люди.

Я чувствовал себя счастливым, воодушевленным.

Я встал с кровати и вышел из комнаты, чтобы подышать свежим ночным воздухом.

Полная луна плыла по небу. Мне мешали смотреть на нее заборы, остроконечные крыши, торчащие трубы, но высоко над всем этим свободно струился лунный свет, и туда в парящем полете устремилась моя душа. Словно в чудесном сне я летел ввысь, ввысь. Я купался в этом потоке света, плавал и нырял как в море, раскрывшем мне дружеские объятия.

А рядом со мной, рука в руку, очарованная той же красотой, вдохновленная той же любовью, была девушка, девушка, которую я еще не знал и никогда не видел. Вместе с ней мы смотрели вниз на города, и на людей, и на заросли, которым мы принадлежали.

Как прекрасна была эта ночь!

notes

Примечания

1

Карбин знаменитая в Австралии в 90-е годы скаковая лошадь, выигравшая кубок на скачках в Мельбурне. *(Прим. перев.)*

2

В Австралии в большинстве штатов продажа спиртных напитков воспрещается после шести часов вечера. *(Прим. перев.)*

3

Перевод стихов в этой повести и далее В. Рубина.

4

Коала — маленький сумчатый медведь, который водится только в Австралии. *(Прим. перев.)*

5

«Бюллетень» политический еженедельник, издающийся в Австралии, имеющий литературную страницу. *(Прим. перев.)*

Метиловый спирт. *(Прим. перев.)*

7

Штрейкбрехер. *(Прим. перев.)*